

ISSN 0130-3500

04P05940
81020P10133

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

9

1984

10.335/
1984/3



10.335
1984/3

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ЭМЗАР КВИТАИШВИЛИ.** Стихи. Переводы Яна Гольцмана, Светланы Кокоревой, Вадима Коленченко . 3
- МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ.** Стихи. Переводы Владимира Еременко, Даниила Чкония, Олеси Николаевой . 9
- ДЭВИ СТУРУА.** Судьба. Эпизоды жизни Николоза Бараташвили 13
- НАФИ ДЖУСОИТЫ.** Стихи. Перевод с осетинского Михаила Синельникова и Наталии Орловой . 81
- МУРМАН ДЖГУБУРИА.** В тени грушевого дерева... Роман. Окончание. Перевод Нодара Тархнишвили . 88

ПУБЛИЦИСТИКА

- ВИОЛЕТТА ГАСПАРИШВИЛИ.** Быть на земле человеком. Заметки инспектора Министерства просвещения Грузинской ССР . 118

9

1984



- АПОЛЛОН ЦАНАВА.** Корни — в родной земле 135
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО. Глагол Джемала Топуридзе 142
ГЕНРИХ МИТИН. Приобщение к прекрасному 149
РОКСАНА АХВЕРДЯН. История, люди, книги... 158
ДИЛАРА АЛИЕВА. Низами и Руставели о роли и назначении художественного слова . 168

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

- ДАВИД ЧХИКВИШВИЛИ.** Одна из памятных встреч 175

ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

- ТАМАРА ЦИНЦАДЗЕ.** Поэтика Каунти Каллена 183

ЛЮДИ И ФАКТЫ

- Б. БЕГИАШВИЛИ, Л. САНАКОЕВА.** Эстафета духа. К 170-летию со дня рождения Давида Чубинашвили 201

ИСКУССТВО

- ЛЕЙЛА ТАБУКАШВИЛИ.** «Тбилиси мой и Пирсомани» 207
ЛАМАРА ДОГОНАДЗЕ. Дмитрий Алексидзе и его новые ученики 214

-
- ХРОНИКА** 174, 206, 224.

ДРУЗЬЯМ

Покуда сердце гонит кровь по кругу,
Открыты двери чистоты душевной —
Таковыми и запомнимся друг другу,
Отбросив вздор судьбы несовершенной.
Привыкнем бесконечно, одиноко
Ждать светлый миг. Узнаем цену муки.
Мы выстоять обязаны до срока
Последней, неминуемой разлуки.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Поначалу просто подумал,
А потом и вправду поверил,
Что последняя осень тает
И не будет уже другой.
Солнце падало, расплывалось,
А потом и вовсе исчезло —
Опрокинулся ковш огромный
На хребты обнаженных гор.
Прилетали иволги — крылья
Обмакнуть в золотой пучине...
Прежде тихий, неприметный,
До сих пор сидевший во тьме,
Скорпион под лопаткой ожил,
Знак его горел нестерпимо
На ветвистом стебле сосуда:
Догорала осень моя.
Не упомяну поры прекрасней
И страшнее поры не видел.
В платье черном возле базара
Одиноко стояла старуха —
Шерстяные носки в руках.
Что мне было терять в тот вечер?
Я не встретил бы по дороге
Двух знакомых... Только и было —
Догорала осень моя.

ГОРОД ПТИЦ



Не привиделось, не приснилось —
Случай, случай всему причиной —
Я попал в причудливый город,
Очутился в городе птиц.
Вижу, в городе необычном
Все пернатые знают дело,
Всякий точно запомнил ветку,
На которой ему сидеть.
Каждый клюв отточенный тонко,
Излучает сиянье стали.
Каждый вид вполне обособлен —
Когда песню свою поет
И когда, затеяв охоту,
Вылетает плотною стаей,
Гонит бабочек, угодивших
В золотые сети дождя.
В этом городе знать не знают,
Что летает по белу свету
Птица-смерть: ожиданье смерти
Никого не тревожит тут.
...Дождевые капли, вращаясь,
Исчезают в горлышке узком,
Отражает любая капля
Синеву бездонных небес.
Чуть приметны челюсти птичьи,
Обрамленные легким пухом.
Что печалит певцов, что может
Их обрадовать?
Не понять...
...Растерялся. Будь поумнее,
Я сумел бы летать не хуже.
Ладно, думал, еще случится
Оказаться в этих местах.
Вышел в путь. Не стал дожидаться
Темноты, хотя, несомненно,
Никакое зрелище ночью
Не сравнится с городом птиц.



Разбиты опоры —
Творения зодчих былого,

Гранаты Звартно́ца
Наполнены болью былой.
Палящее солнце.
Под ним, наливаясь лилово,
Лежит виноградник,
Восставший над мертвой золой.
Зубцы крепостные мерещатся,
Звяканье цепи...
Арба, гроыхая,
Мучительно катится вниз...
...Прорезав туманы,
В блистательном великолепье
Алмазную голову
Вскинул высоко Масіс —
Курится вершина.
...Мерцают высокие свечи.
Телец для закланья
Украшен в соседнем селе.
И храм Рипсимэ́ —
Неукрашенный, широкоплечий —
Стоит нерушимо
На каменной этой земле.

ВЕСНА

Всего острее — запах почвы влажной,
Омытой ливнем. Дышится свободней.
Все бодрствует... И кажется неважной
Зловещая воронка преисподней.

Уходят в стебли — прорастают зерна:
Прозреть стремится зернышко-малышка.
Прохладный сумрак пористого дерна
Блаженно ощущает муравьишка.

Безмолвно чудо. И, подобно чуду,
Восходит солнце... Дивная картина!
В накрапе росном светит отовсюду,
Заманчиво блистает паутина.

ТВОЯ ДОЧЕНЬКА

Свитер на стул положила,
Гетрики... Выстыло лето.
(В холоде небытия
Ты ли не чувствуешь это?..)
Шубку надела белую.
Белые крохи-валенки.
Идет по морозцу девочка —
Копия твоя маленькая.
Щурит твои глаза.
Какая ей выйдет судьба?
Куда упадет этот свет,
Вырвавшийся из тебя?
Плоть облаков рассечет,
Вспыхнет лучом на воде.
Но в мире этом большом
Тебя не встретит нигде.

ЧТО ТЕБЕ СМЕРТЬ...

Память людская — плохая надежда,
Не уповай на нее.
Книга уходит, порой оставляя
Только название свое.
Вниз головою висишь ты над бездной,
Все суета сует.
Может, и был ты, а может, и не был.
Не был — коль имени нет.
И не надейся родиться вторично,
Раем себя не дразни.
Мутный туман, как виденье, размочет
Все очертанья твои.
Как высоко ни летал бы ты, друже,
Крылья найдутся сильней.
Что тебе смерть, если ты уже понял:
Холод забвенья страшней...

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

Сколько добра-то здесь! Даже не верится!
Склад им забит до покатоного свода.
В ночь подземелья сведет тебя лестница,
В стынь без названия времени года.

Гири атласно-черны, словно деготь.
В черный халат облачен весовщик.
В черную свеклу вонзил черный ноготь —
Черная кровь проступила на миг.
Корни редиски — хвостатая братия.
Блещут зеленым листом кочаны.
Встрепаны луковиц нежные платья,
Цветом вина золотятся плоды.
Словно застывшая твердь водопада —
Связка за связкой спадает лук.
Плесени запах и запахи сада —
Так замыкается жизни круг...
Тысячи пульсиков бьются под сводом
Сырости, гнили, подземной тьмы.
Непритязательна жизнь корнеплодов,
Вышедших в свет из лона земли.
Только добро, бескорыстьем рожденное,
Служит, не требуя благ никаких.
Жизнь — не тропа, для тебя проторенная.
Жить, — значит, думать о благе других.

Перевод Светланы КОКОРЕВОЙ

ПРОШЛОЕ

Грудь чувствовала таяние льда.
Я долго спал над илистым обрывом,
Покуда меня черная вода
Не увлекла к далеким предкам-рыбам.
Забутый ими, в царство странных снов
Спустился я, клубочком рифмы свился,
И если бы не твой могучий зов,
То как бы я с дремотой разлучился?
В мгновенье то союз родился наш,
Нет у тебя наперсника прилежней,
Чем я — твоей безоблачности страж,
Бессменный пастырь рощ твоих прибрежных!
Свободно счастье быть с тобой в родстве,
И я его вовеки не нарушу.
Плоть выдохлась в трудах и баловстве,
Но невозможно обессилить душу.
Переступив святилища порог,

Немой от твоего благоволенья,
Я так хотел и вымолвить не мог,
Что мной владеют ты и жажда пеня!



Девочка из черного овала
Только и успела, что войти
В густоцвет ромашкового вала
Да испить колодезной воды.
Горек вкус, но привкус детства сладок,
Как в жнивье колосья у стерни.
Кто ж посмел судьбы твоей остаток
Упокоить в липовой тени?
Под дождями крыша догнивает,
Все просторней липовая тень, —
Горе у земли не убывает,
И отцовской скорби полон день.



До чего же нелепа
Злая смена миров.
Если солнце вполнеба,
Месяц будет каков!
Может быть, и оттает
След попавших впросак.
Где еще так светает,
Где смеркается так?
Не без легкого крена,
Но без праздных хлопот
Я родимой Вселенной
Продолжаю обход.
Успокоюсь едва ли,
И до судного дня
Эти грустные дали
Не отпустят меня.
Да пребудут со мною
К истине на пути
Солнце над головою,
Отблеск солнца в груди.

Перевод Вадима КОЛЕНЧЕНКО



ДОЛГ

Изе Орджоникидзе

Чувство Родины...
В камне и в гимне
Долг поэзии — выразить это.
Не стократ ли труднее, скажи мне,
Сердцу женщины ноша поэта?!
Босоногая, в шелесте сплетен
Поднимаешься крестной тропюю,
Этот верит в тебя, неприметен,
Тот, как ветер, играет тобою.
Тки же, пленница солнечной нити,
Золотые знамена печали!
У порога грядущих событий
Пара новых железных сандалий.
Так иди к неразгаданной цели
Вслед за вихрем, не смея согнуться!
Но вернись на призыв колыбели
И не дай очагу захлебнуться.
Каково в мятеже горделивом
Так носить отягченное тело!
Этот путь не под силу счастливым,
Это счастье не знает предела.
Жажда слова и доля земная —
Как связать их пред отчею твердью?
Мчит на пламя летунья ночная,
Как с младенцем играя со смертью,
Не приемля блаженного тлена,
Всю себя доверяя лавине.
О земля, укрепи ей колена,
Чтоб в ярме оставалась богиней!
Чувство Родины...
В камне и в гимне
Долг поэзии — выразить это.
Не стократ ли труднее, скажи мне,
Сердцу женщины ноша поэта!?

Перевод Владимира ЕРЕМЕНКО.

Стекали свечи, вправленные в роги.
Цыганка продавала леденцы,
Но, поводя плечами, как отцы.
Мальчишки пыль вздымали на дороге.



От жертвенного камня пряча взгляд,
Они смотрели не на нож, а — над,
Туда, откуда долетали звуки.
Там, над застольем, над клубком мужчин,
Под солнцем, на горе, как древний сын
Адамов,
 черный крест раскинул руки.

Надгробный камень там, где крест стоит.
Ромашка солнцеликая таит
Над ним слезу и тщетную надежду
Забыть былое, что свершилось здесь,
Чему она одна свидетель днесь, —
И прячет кровь впитавшую одежду.

СЛЕЗА ТЫ

Л. Т.

Не женщина ты,
А строка,
Слеза ты на теле кинжала.
Ты сон соткала на века,
А после от сна убежала.

А боль нецелованных глаз
Таится упорно и твердо:
Садовник, забывший про нас,
Был предан забвению гордо.

Тоску заплетешь, как итог,
Который и грустен, и жалок...
Войдет он, твой ласковый бог,
Несущий букетик фиалок.

Перевод Даниила ЧКОНИЯ

ЖИЛИ-БЫЛИ...



Улыбаешься мне и из прошлого ты еле-еле,
Обнимаешь за плечи меня — так светло и легко...
Только ты меня больше с собой не захватишь
в Хомхели,
К снежным синим вершинам, высоко-высоко!

Там, в Хомхели, есть хижина — прямо в ореховой
чаще,
Где огромное солнце пытается в тень заглянуть.
«Ах, малышка!» — ты шепчешь мне, словно пытаешься
летающий
Облик времени остановить, чтобы вспять повернуть..

Я от сказок твоих убежала, мой дедушка славный!
И в дороге я встретила дэвов и гномов, и вот —
Тот, кто с богом боролся, тот истовый, тот
своенравный,
Святотатственный дух наказанья торжественно ждет.

Потому что и в сказке — расплата грядет за деяньем.
И волшебники бродят по жизни, и бесы снуют,
Три дороги лежат возле камня судьбы, по преданьям,
И у каждого озера ночью русалки поют.

И о боли моей ты, мой дедушка, вовсе не знаешь.
Как стоит одиночество посередине земли!
Ты колеса судьбы, как телегу, по мне прогоняешь,
Чтобы к ране кровавой слова прилепиться могли.

«Это только начало, — ты мне повторяешь, — начало...
Если холоден воздух, тяжел он, как будто свинец,
Помни только о том, что ты в добрую сказку попала:
Чем страшней в ней события — тем будет чудесней
конец!»

Перевод Олеси НИКОЛАЕВОЙ



СУДЬБА

ПРОЛОГ

«На четвертый день пребывания его величества в Тифлисе был бал; государь был в особенности внимателен к графине Симо-
нич, Грибоедовой и к
Маико Орбелиановой; последняя была очень интересна...»

«Из Тифлиса государь... летел еще быстрее прежнего, не изъявлял никому удовольствия, и никто не видел, чтобы чело его проясняло». Журн. «Русский архив», 1904 г., № 1, сс. 130—131.

ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ НИКОЛОЗА БАРАТАШВИЛИ

ИМПЕРАТОР был в отличном расположении духа. И не только потому, что прием и костюмированный бал у главноуправляющего Кавказом удалась на славу. Государь был поражен высокой степенью искренности и душевности, которые проявляли грузинские аристократы по отношению к нему и его свите.

...Николай Павлович со смутной тревогой въезжал в Тифлис в теплый октябрьский вечер 1837 года. Навяждение декабрьских дней преследовало его с самого Петербурга до резиденции главноуправляющего в Тифлисе. Неудавшийся мятеж в 1832 году... Николаю подробно докладывали о заговоре, о его участниках, но он до конца так и не составил определенного мнения о целях движения —слишком разные люди

принимали в нем участие. С неким преподавателем Додаевым все было ясно — ярый республиканец, закоренелый враг престола, хуже любого декабриста. Но потомки блестящей дворянской знати, в свое время с оружием в руках доказавшей верность государю и России... Неужели они сплошь сепаратисты и изменники, как об этом и по сей день твердит Бенкендорф? Может, трон допустил ошибку, так скоро отпустив грехи вчерашним друзьям Рылеева и Пушкина?

Но пребывание в Тифлисе до глубины души поразило государя. Где они, заговорщики, сепаратисты? Никогда раньше не слышал избалованный лестью Николай Павлович таких удивительно возвышенных и проникновенных слов о собственной персоне. А на каком изысканном русском языке говорят князья Чавчавадзе и Орбелианов! И как великолепно переводит предводитель местного дворянства, неизменный толмач многих главноуправляющих князь Баратов!

Особенно ярко и одухотворенно говорил генерал Чавчавадзе, тесть Грибоедова, которого Николай Павлович не только ненавидел, но и побаивался, даже мертвого. Возможно, именно зять дурно влиял на прославленного поэта и воина, героя походов против Наполеона?..

А грузинские княгини и княжны? Откуда столько ума и такта у этих красавиц? Николай признавался себе, что ему стоило большого труда поддерживать разговор с Мананой Орбелиани, этой грузинской мадам Рекамье, и вообще «маленький Петербург», как ему аттестовали Тифлис, оказался не оплотом свободымыслия и бунтарства, а прекрасным оазисом империи.

Бал близился к концу.

Николай залюбовался молодым, стройным дворянином в белой черкеске. Ему представили юного князя Баратова, поэта, сына предводителя местного дворянства и толмача главноуправляющего. Его тоже звали Николаем, по-грузински — Николозом.

— Быть тебе моим адъютантом, — милостиво бросил император.

Юноша молчал.

— Переведите ему, — сказал Николай.

— Он прекрасно говорит по-русски, ваше величест-

во, это мой сын, — почти шепотом сказал старый князь.

Николай Павлович пристально посмотрел на своего тезку. Что-то знакомое было в спокойном, не пошлостно-шески твердом взгляде темно-карих миндалевидных глаз. Вновь почему-то вспомнил император Пушкина. Никакого верноподданического трепета, столь любимого Романовым. Николай ненавидел Пушкина не столько за крамольные вирши и злобные эпиграммы, сколько за безмолвно демонстрируемое чувство превосходства над государем, помазанником божьим. Неужели и этот молокосос — вольнодумец? Почему он не благодарит? Ждать ответа от этого наглеца столько времени просто неприлично. Усмехнувшись, Николай обернулся от несостоявшегося адъютанта к вдове Грибоедова.

Поздно вечером в покоях главноуправляющего императору доложили, что молодой Баратов в силу своего несовершеннолетия не участвовал в движении 1832 года, но сочувствовал самым крайним элементам заговорщиков. Любимейший ученик Додаева, автор мерзких эпиграмм на высших сановников, горячий поклонник Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Мицкевича... Да, не все так гладко, как в цветистых тостах этих золотоустов. Бенкендорф, как всегда, осторожен и проныцателен.

...И повсюду одно и то же, даже в этом захолустье. Не желает благодарить государя? Не годен к строевой службе? Не замечал что-то его хромоты...¹

Вечер решительно был испорчен. Своим дерзким поступком молодой Баратов показал истинную цену раболепным тостам вчерашних заговорщиков. Трон обязан быть повнимательней к льстецам и лицедеям, а что касается этого Байрона с берегов Куры...

В ту же ночь несостоявшийся адъютант его величества — поэт Николоз Бараташвили написал такие строки:

Наш бранный мир — худое решето,
Которое хотят долить до края.

¹ После падения на лестнице в гимназии Н. Бараташвили получил физическое увечье.

Чего б ни достигали мы, никто
Не удовлетворялся умирая.



Завоеватели чужих краев
Не отвыкают от кровавых схваток.
Они, и полвселенной поборов,
Мечтают, как бы захватить остаток.

Что им земля, когда, богатыри,
Они землю завтра станут сами?
Но и миролюбивые цари
Полны раздумий и не спят ночами.

«Вот он, живое воплощение угнетения Родины, венец многовековой агонии моего народа. Истина? На твоей ли она стороне, великий мой пращур? А, может, допущена роковая ошибка? От этих оловянных глаз убийцы Рылеева и Пушкина веет смертельным холодом...

Ираклий искал для истощенного народа покоя, приюта, покровительства. Это путь Александра, Теймураза...»

Они стараются, чтоб их дела
Хранило с благодарностью преданье,
Хотя, когда наш мир сгорит дотла,
Кто будет жить, чтоб помнить их деянья?

Но мы сыны земли, и мы пришли
На ней трудиться честно до кончины.
И жалок тот, кто в памяти земли
Уже при жизни станет мертвечиной.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

Непривычно прохладным выдался сентябрь сорок пятого в Елисаветполе. Мучимый лихорадкой Николоз засыпал обычно под утро, страшась кошмаров, постоянных спутников его недолгого сна, вернее, тревожного забвения, не дающего ни телесного отдохновения, ни душевного покоя.

Часто снилось ему, что он карабкается по отвесной скале, липкой от сочащейся откуда-то сверху крови.

— Держись, держись, Тато¹, осталось совсем немного! — кричит кто-то, и Николоз никак не может вспомнить, где слышал этот высокий, надрывный голос. Потом он начинает скользить вниз все быстрее и быстрее и наконец срывается в пропасть, но не летит камнем вниз — звездная бездна подхватывает его и начинает раскачивать на своих невидимых волнах, убаюкивая каким-то странным, неземным ритмом. И вот Бараташвили перестает ощущать себя в пространстве. Бездна растворяет его, и только десятикратным, слабеющим эхом звучит все тот же знакомый голос: «Это все, это все, Тато!»

Николоз просыпается весь мокрый, долго приходит в себя, усилием воли подавляя страх и желание звать на помощь. Впрочем, это бесполезно. Резиденция помощника уездного начальника, эта жалкая лачуга, стоит на отшибе, вокруг ни души.

Но в ту сентябрьскую ночь Николоз заснул рано, почувствовав непреодолимую слабость. Осталось недописанным шутивное ответное письмо Александру Сагинашвили, который укорял друга за долгое молчание.

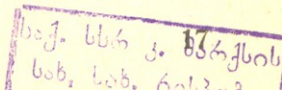
На этот раз приснилась Тато хрупкая Гонча-Бегум. Развязывая ему своими тонкими пальцами галстук, ханская дочь нашептывает в стихотворном ритме:

Не садись, князь, на коня,
Не направляй, князь, коня в горы.
И не пей, князь, воду из колодца,
Гнилая в колодце вода, князь...

Потом Гонча-Бегум целует Тато в губы, крестит его. Удивляется во сне Николоз.

— Ты же магометанка, Бегум, не боишься разгневать аллаха?

¹ Ласкательное имя Николоза Бараташвили, данное ему родителями в детстве.



126283

— Молчи, князь, — легко касаются пальцы Гонча-Бегум губ Николоза, — он может услышать нас.

— Кто — он?

— Он, — отвечает Бегум и показывает взглядом на дверь.

Бараташвили поворачивается к двери и видит певца Джафара. Персиянин стоит, чуть склонившись в приветствии, смуглая кисть приложена к чалме.

— Здравствуй, Джафар, я рад тебе, друг мой, подойди, обними меня.

Джафар поднимает голову, потом закидывает ее назад и начинает петь любимую песню Бараташвили:

«Эй, мусельман, намари ханжалзани!»¹

Потом Джафар подходит к Николозу. Но это уже не Джафар, а отвратительный скопец с засохшей пеной на тонких губах. Николоз с силой отталкивает скопца и тянется рукой к чеканному поясу с кинжалом.

«Эй, мусельман, намари ханжалзани!» — пищит скопец и пятится к двери...

Тонкими пальцами проводит Гонча-Бегум по мокрым от пота волосам князя и вновь умоляет его не ехать в горы.

Смутные чувства словно в марево погружают проснувшегося Николоза. За окном мгlistое утро. Скоро зальется молитвами и заклинаниями здешний мулла — карлик с недобрыми глазами и голосом, который слышен далеко за городом. Бараташвили, накинув теплый халат, подсел к столику и стал дописывать письмо Сагинашвили.

«Будь я на месте Бабале, насилу погнал бы тебя в Дагестан! Бедняжка так и не вышла в майорши, ждет не дождется.

Двести верст от Гянджи до города², если даже и разгневаешься на меня, какой в том прок?»

Николоз обмакнул перо в чернильницу, но рука застыла над страницей письма. Не было сил продолжать в том же духе. В окно забарабанил дождь. И вновь, как много раз после венчания Катины, Бараташвили физически ощутил опустошающую тоску, парализующую волю и разум.

¹ Эй, мусульманин, порази мою грудь кинжалом! (перс.)

² До Тбилиси.

Рука с пером опустилась наконец на бумагу и с трудом вывела: «Но напрасно шучу; скучно, грустно. Навеки твой кн. Н. Бараташвили».

Тато прилег на тахту, укрылся поверх одеяла белой буркой, подаренной Григолом. Постепенно унялась лихорадочная дрожь, и он уснул.

Светало.

Забывшегося тяжелым, мутным сном Николоза разбудил резкий стук в дверь. Пришел садовник Кадыр и сообщил, что во дворе канцелярии собрались какие-то женщины и требуют начальника.

С трудом понял изнуренный лихорадкой помощник уездного начальника, что на село Саралар напали разбойники и угнали скот.

Успокоив без умолку тараторивших крестьянок, Николоз наспех сколотил небольшой отряд из шести казаков и трех вызвавшихся участвовать в предприятии гянджинцев.

Кадыр вывел из конюшни белого иноходца.

«Не садись, князь, на коня!» — вспомнил Бараташвили недавний сон...

Около трех часов добирался маленький отряд до Саралара. Отдохнули и пообедали в доме сельского старосты. Хозяин дома — сорокалетний богатырь Фикрет поставил перед князем глиняную миску с горячей кюфтой¹ и почтительно присел на краешек стула напротив Николоза. Из чуть приоткрытой двери в столовую заглядывали хорошенькие дочери старосты, удивляясь худобе и желтизне помощника уездного начальника. Тато заметил это бесхитростное наблюдение за ним и попросил Фикрета показать ему своих дочерей. Три большеглазые девочки стояли перед оживившимся после изнурительного перехода Бараташвили, смущенно опустив головы, и переминались с ноги на ногу. Старшей было, наверное, лет двенадцать, младшей — восемь.

«Вот такой крошкой отдали хрупкую Бегум Орлову», — подумал Николоз, в который раз вспоминая безнадежно влюбленную в него ханскую дочь.

¹ Восточное блюдо.

— Счастливей ты человек, — сказал Николоз Фикрету по-азербайджански, — да пошлет им аллах счастья и благополучия.

Тато поцеловал в головку младшую и застыдившихся дочерей старосты.

— Почти пятьдесят голов коров и быков угнали негодяи, — сокрушался Фикрет, — я знаю, это банда Халила. Они теперь будут держать скот в горах, пока гонец не приведет перекупщиков.

— Сколько приблизительно человек в банде?

— Будет человек десять, а, может, и больше, начальник.

— А сколько вооруженных людей можешь дать в подмогу?

— Кто знает, пугливым стал народ, начальник, человек десять надежных людей соберу...

— В банде нет сараларца?

— Нет, начальник.

— Хорошо. Выступим часа через два, может, нароем их, далеко с коровами и быками не уйдут. Заставим их бросить скот, и то дело. Иди, собери людей.

Когда отряд углубился в горы, осторожный Фикрет протянул князю свой темно-серый бешмет.

— Сними белую бурку, начальник. Если разбойники устроили засаду, твоя бурка послужит им мишенью.

— Ничего, если аллаху угодно сохранить меня, бандитская пуля пролетит мимо, а если нет, то не поможет твой бешмет, Фикрет-ага.

Приземистый, юркий сараларец Магерам быстро обнаружил след угнанного стада, но погоню решили отложить до утра.

— Часа через два стемнеет, не сможем идти по следу, да и перебьют нас поодиночке из засады, начальник, — сказал Фикрет, — придется започевать в лесу.

Николоз не разрешил казакам и сараларцам разложить костер, чтобы не спугнуть банду, которая могла быть совсем недалеко, хотя его самого уже начала трясти лихорадка.

Плотно запахнувшись в белую бурку, подаренную Григолом, Тато присел на пень недавно срубленного

деревя. Казаки предложили своему командиру самогонки, но Николоз отказался — слишком ослаб за последнюю неделю от изнуряющей лихорадки.

«Неужели и мне, как князю Андроникашвили, придется писать этой старой лисе Воронцову, чтобы поскорее забрали отсюда? Почему Мамука оставил меня в этом проклятом богом месте? Посмотрели бы на меня сейчас Маико или Катина. Хорош их поэт — гоняется за какими-то паршивыми разбойниками, ночует в лесу, подобно дикому зверю. А как мечталось служить в Телави! Там, где билось горячее сердце Патара Кахи¹, где Катина повезла меня в сказку, именуемую Алавердоба. Как легко и радостно писалось бы в Телави! А что, если б я наотрез отказался ехать в Гянджу? Тогда эти мерзавцы убили бы сразу двух зайцев: во-первых, обвинили бы меня в отсутствии служебного рвения и в своеволии, а во-вторых, вывели бы перед людьми плохим другом и плохим грузином, не протянувшим руку помощи больному лихорадкой Андроникашвили. Он, кажется, до сих пор не смог оправиться от болезни и находится в Тифлисе. Ну и продувная bestия этот Воронцов! 16 июня подписывает приказ о моем направлении в Телави, а через день заставляет просить о новом назначении. Не об Илико, а о себе я написал три года назад, словно предчувствуя этот ночлег в гянджинских горах:

...Пусть оторвусь я от семейных уз.
Мне все равно. Где ночь в пути нагрывает,
Ночная даль моим ночлегом станет.
Я к звездам неба в подданство впишусь...»

Тато посмотрел в небо. Между ветвями уснувших деревьев бледно мерцали одинокие звезды, словно подавая какие-то сигналы из неведомого мира, скрытого за темным сентябрьским небом.

Пусть я не буду дома погребен.
Пусть не рыдает обо мне супруга.

¹ Маленький Кахи (гр.) — так прозвали в народе Ираклия II.

Могилу ворон вырвет, а вьюга
Завоет, возвращаясь с похороном.

Крик беркутов заменит певчих хор.
Роса небесная меня оплачет...



«А может, хоть единожды окажет мне милость моя мачеха-судьба? Или опомнится наконец Григол и протянет мне руку над этой бездной? Его равнодушные — неразрешимая загадка. То, что он любит меня, как сына, и ценит как поэта, в этом нет никакого сомнения. Своей сестре и моей матери посвятил Григол самые прекрасные строки.

Ради Ефемии он обязательно постарался бы. Одно его слово Ренненкампуфу, и я оказался бы в Дагестане, рядом с моими друзьями. А что, если Григол оберегает меня от чеченских пуль? Неужели дядя думает, что их свист — музыка похуже, чем вой гянджинских гиен?»

— Начальник, а, начальник, — Фикрет прикоснулся к бурке Николоза, возвращая его к действительности, — выпей, согреешься, — и азербайджанец заботливо протянул князю большую пиалу, наполненную душистым чаем. — Огонь маленький развели, совсем маленький, начальник.

Тато взял горячую пиалу и, отпив, почувствовал блаженное тепло в груди. Подхорунжий вновь предложил своему командиру самогонки, и чтоб не обидеть его, Николоз, преодолевая отвращение, едва пригубил из крохотного рога, наполненного сивухой.

Согретый чаем, Тато ненадолго вздремнул. Слегка покачиваясь на широком пне, он сквозь сон слышал, как тихо, совсем тихо напевали казаки песню родных степей.

«И дорога в Петербург оказалась мне заказана, — преодолевая сонную одурь, думал Тато, — эх, отец, окажись ты чуть попржимистей да поаккуратней, увидел бы я белый свет и не сидел бы здесь, на этом пне, среди ночи, чтоб завтра поутру лететь навстречу бандитской пуле...»

Под утро страшный озноб охватил молодого Бараташвили — ни кипяток, ни самогонка не могли ему

помочь. Подстреленной птицей бился Тато на устан-
ной казацкими бурками земле.

А когда отвратительная дрожь наконец унялась, изнуренный новым приступом лихорадки командир с помощью казака взобрался на своего иноходца и отряд последовал за Магерамом, который быстро и уверенно шел по следу угнанного скота.

Через два часа отряд вышел на опушку леса, и Магерам остановил коня командира.

— Они были здесь совсем недавно, начальник, — сказал сараларец, указывая на выщипанную редкую траву, — дальше идти опасно.

Бараташвили послал в разведку двух пеших сараларцев и приказал отряду приготовиться к сражению с бандой, а когда в лесу прогремел выстрел, выхватил из ножен шашку и направил коня туда, откуда слышалась перестрелка. Подхорунжий со своими казаками обогнал командира и углубился в лес.

Банда уклонилась от боя и, бросив похищенный скот, скрылась в горной чащобе. Только двух зазевавшихся разбойников зарубил бравый подхорунжий, но от погони отряд воздержался, шадя больного командира.

Сделав короткую передышку в Сараларе, Николоз поспешил в уездный центр. Жар у него усилился. Почуживого помощника уездного начальника казаки довели до дому и уложили в постель. Кадыр сбегал за местным лекарем, сообщив городничему Севарсамидзе и секретарю канцелярии Потапову о болезни Баратова.

Десять дней пролежал Николоз в постели. Каждый день верный Кадыр натирал сильно исхудавшего молодого князя водкой и козьим жиром, закутывал его в одеяло и накрывал белой буркой. Потом, преклонив колена на сыром глиняном полу бараташвилевской лачуги, горячо молил аллаха даровать жизнь этому странному начальнику, который почему-то любит чужих ему людей, жалеет и защищает их, как только может.

На одиннадцатый день аллах услышал молитвы почти не спавшего все эти ночи садовника. Жар наконец спал, и помощник уездного начальника улыба-

нулся Кадыру почерневшими, потрескавшимися бами.

Восьмого октября Николоз Бараташвили в кровати и неуверенными шагами прошелся по комнате, опираясь на руку Кадыра.

Наутро его посетили Севарсамидзе и Потапов. Городничий доложил Баратову, что за время его болезни в селе Кадиле неизвестными лицами был убит крестьянин Мурад Усейн-оглы, а в деревне Челоб-юрт жертвой несчастного случая стал некий Оганес Арушанов.

— Сведения об этих происшествиях я послал в Тифлис, ваше сиятельство, вместе с рапортом о вашем недомогании.

— Благодарю вас, подполковник. А что слышно о возвращении в уезд князя Орбелианова?

— Пока ничего, ваше сиятельство.

Подполковник Севарсамидзе скрыл от ослабевшего Бараташвили, что из Тифлиса за подписью начальника канцелярии Грузино-Имеретинского губернского правления поступила выписка из журнала правления, в которой помощнику Елисаветпольского уездного начальника ставилось на вид несоблюдение каких-то формальностей в связи с увольнением бывшего городничего капитана Трирогова. Севарсамидзе знал, что в губернском правлении у того были покровители. Им, естественно, не понравилось, что новый помощник уездного начальника разоблачил рекомендованного ими человека как взяточника и держиморду, оскорбляющего национальные и религиозные чувства азербайджанцев. Подполковник боялся, что такая несправедливость может доконать на редкость честного и щепетильного Баратова, еле оправившегося от очередного тяжелого приступа лихорадки.

Потапов тоже доложил Баратову о нескольких незначительных бумагах, поступивших в его отсутствие в канцелярию уездного начальника, а затем извлек из-под полы своей шинели бутылку внушительных размеров.

— Угощайтесь, ваше сиятельство, — заулыбался Потапов, — отменное пиво, подкрепитесь малость. Николай Мелитонч.

«И не пей, князь, воду из колодца,
Гнилая в колодце вода, князь...» —



опять вспомнил Николоз тот сон...

Прохладное пиво освежило иссушенного десятидневным жаром Бараташвили. Три стакана выпил он подряд, а затем велел Кадыру оседлать коня.

В то утро Николоз с трудом побрился. Трясущаяся рука неуверенно водила помазком по впалым, заросшим щекам. Тато едва узнал себя — из зеркала на него смотрел изможденный человек с желтым лицом и помутившимся взором, мало напоминавший недавнего баловня тифлисских красавиц.

Несмотря на уговоры Севарсамидзе и Потапова и немую, но красноречивую мольбу Кадыра, Николоз все же отправился верхом в канцелярию, борясь с головокружением и приступами тошноты.

В канцелярии он пробыл до восьми часов вечера, а когда собрался ехать домой и вышел во двор, сделав несколько неуверенных шагов, рухнул на землю.

...На кабинетном календаре помощника Елисаветпольского уездного начальника, губернского секретаря князя Николая Мелитоновича Баратова стояло: 9 октября 1845 года...

Весь день и всю ночь бредил Тато. У кровати больного сидели гянджинский лекарь-костоправ, Севарсамидзе, Потапов. Позади них стоял Кадыр.

...Пусть оторвусь я от семейных уз...

И опять забарабанил косой дождь в окна бараташвилевской лачуги.

...Пусть не рыдает обо мне супруга...

Одно за другим возникали в горячечном бреду видения...

...Похожая на изображение царицы Тамар в Бетанийском монастыре, круглолицая, со сросшимися на переносице густыми бровями бабо¹ Хорешан перекрестила внука.

¹ Бабо (груз.) — ласкательное название бабушки.

— Помни, Тато, в твоих жилах течет кровь Биратиони, помни, что ты плоть от плоти, кровь от крови нашего Ираклия, ты должен победить, довести...
...Ефемия положила свою красивую, белую руку на голову первенца.

— В шестнадцать лет я родила тебя, счастье мое, свет очей моих, радость моя. Не бойся, я упростила бога моего, и он убережет тебя от болезни и дурного глаза. Ты будешь жить, мой олененок.

...Как в далеком детстве, легко приподнимает исхудавшего Николоза суровая Майя.

— Не страшись, сынок, и посмотри смерти прямо в глаза. Ты честно прожил свою недолгую жизнь и любил людей.

...Друзья ввалились гурьбой, как это бывало в счастливые гимназические годы. Впереди всех Леван, за ним Котэ, Лука, Миша, Илья, Мириан, Саша, Каплан, чинно подходит Платон, рядом с ним Дмитрий, Георгий. Они тискают обессилевшего Тато, зовут его на очередной кутеж.

— Поднимайся, Тато, хватит валяться в постели, — трясет Николоза Илья, как тогда, на дуэли, — нас давно ждут в Гаретубани.

...Сатара и Джафар усаживаются поодаль от кровати больного и в два голоса:

— Эй, мусельман, намари ханжалзани!

...Маико входит одна, становится на колени у изголовья Тато и целует его миндалевидные, влажные глаза.

— Я не покидаю тебя, мой брат. Я пойду за тобой на край света, и мы будем всегда и везде вместе, как здесь, в этом неласковом для нас обоих мире.

— А где же ты, дядя Григол? Неужели и в этот час не услышу и не увижу тебя? Мне уже ничего ни от кого не надо, просто хочу проститься.

Не отозвался на эту просьбу прославленный поэт и воин, не пригрезился в горячечном бреде своему любимому племяннику. Долго, до хрипоты звал Григола отчаявшийся Николоз.

И правительница Мингрелии светлейшая Екатерина Дадзиани не явилась на зов своего поэта...

Утром десятого октября помощник уездного начальника пришел в сознание.

Он лежал тихо, удивляясь какому-то новому, не испытанному доселе чувству просветления и душевного покоя. Не ощущал себя в душной комнате, не видел людей, сидящих у его кровати.

Из какого-то далека зачарованно смотрел Николоз на огромный, светящийся мириадами красок мир, который властно призывал к себе поэта могучим хоралом любви и жизнеутверждения. Тато чувствовал, что скоро сольется с этим прекрасным, многоголосым миром. Он знал, что умирает, и благодарил бога, ниспославшего смерть не кромешным мраком и могильной тишиной, как в недавних кошмарных сновидениях, а тысячами солнечных рассветов, нарастающим гулом пробудившейся природы и торжественной литургией вечности бытия.

На головокружительной высоте последнего победного взлета своего крылатого скакуна, полной грудью вдыхая голубизну бескрайнего неба, Тато широко раскрыл объятия навстречу надвигающемуся золотому диску осеннего ласкового солнца...

ТИФЛИС

«Тифлис. Гаретубани. Февраль 1837 года.

Прошу извинить меня за то, что не писал до сих пор; вина тому — обстоятельства: то не знал Вашего местопребывания, то был занят служебными делами (я чиновник экспедиции суда и расправы) и между тем пропускал понедельник, когда идет тамошняя почта. Вот так, дядя. Знаю, ты простишь меня.

Вот уже полтора года, как я окончил курс гимназии и нахожусь в суде и расправе. Представлен к чину и ожидаю его вскоре. Но должен признать, что ни во время пребывания в пансионе, когда будущность моя представлялась мне в радужных мечтаниях, и ни после, до поступления на службу, я и не думал о гражданской службе: моим желанием было стать военным, это стремление питало меня до сих пор и теперь порой

закрадывается в сердце мое. Но что же помешало мне, раз было такое желание? А вот что: мои родители придрались к тому, что, мол, ты хром и, кроме как в инвалидную команду, тебя никуда не примут. И это тогда, когда с ногой было лучше. Хорошо и теперь, так что я по-своему и прыгаю, и даже танцую. Но когда я узнал об их отказе и неудовольствии, попросил послать меня в университет — раз уже быть штатским, так быть... И этого они не сделали для меня. К несчастью, в это время заболел отец и, будучи больным, на мою просьбу отвечал так: «Сынок, ты же видишь, в каком положении наша семья, кто знает, может быть, мне не суждено встать на ноги, кто будет кормильцем семьи?» После этого духу не хватило вновь докучать отцу просьбами. Остался я в своем отечестве, устроился на службу и покорился своей жестокой судьбе, хотя временами и собираюсь сцепиться с ней: или свершится судьба моя, или осуществляю свое желание. Но раз все так получилось, лучше экспедиции места не найти. По правде, это место для молодого человека, стремящегося к гражданской службе, — первая школа; только вот круг чиновников не выгоден для образования нравственности, но тут все зависит от самого себя.

Я потому сообщаю Вам об этих обстоятельствах, чтобы Вы не подумали, будто я остался дома из-за лени. Эту черту не выношу даже в других. Поистине, я не ленив, но что поделаешь, как справиться с игрой судьбы... Ну, бог с ней!..»

* * *

— У меня для вас счастливая новость, князь, — сладко улыбался начальник экспедиции Ильинский, протягивая бумагу Николозу. Столоначальник быстро пробежал ее глазами и вернул своему шефу. Среди других участников приема у главноуправляющего в честь Николая I серебряной медалью «для ношения в петлице на Владимирской ленте в ознаменование Высочайшего пребывания Государя-Императора за Кавказом» награждался Николай Мелитонович Баратов.

— Мне сказывали, что император раз милостиво обратился к вам, князь, — Ильинский хитро сощурил свои мышинные глазки.

— Слишком милостиво, ваше превосходительство, — с какой-то неопределенной интонацией ответил Николоз, — государь вознамерился взять меня в адъютанты, но потом, видно, передумал.

— Говорят, вы совершенно растерялись от такой неожиданной милости, настолько, что даже не соизволили поблагодарить государя.

— Совершенно верно, ваше превосходительство, от счастья дух перехватило, слова вымолвить не смог.

Ильинский всмотрелся в бесстрастное лицо столоначальника. Этот рифмоплет явно валяет дурака, издевается и над своим начальником и, о боже, над самим государем.

— Говорят, влетело вам от Мелитона Николаевича по этому случаю.

— Еще как влетело, ваше превосходительство, грозился высечь, выгнать из дому. Вы знаете, отец скор на расправу.

В дальнейшем Ильинский обратил внимание на то, что князь Баратов не вносил эту награду в свой формулярный список и нигде публично не появлялся с медалью на Владимирской ленте. Когда Ильинский спросил Николоза о причине такого странного поведения, в ответ он услышал такое, что даже не решился заикнуться кому-нибудь об этом. Этот сумасброд сказал, что медаль куда-то завалилась, так как он давал ее поиграть своей сестре, малолетней Нине. Ильинский приказал внести медаль в формулярный список и носить ее в приличествующих случаях. Николоз внес эту награду в свой формулярный список, но вторую часть приказа так и не выполнил. На его груди так никто и не увидел серебряной медали на Владимирской ленте.

— Что мне делать с вами, князь, — вздохнул Ильинский и с сожалением посмотрел на столоначальника, — всем наградил вас господь-бог, но обделил благочестием. Не приведет это к добру, князь, помяните мое слово... А теперь у меня к вам поручение особого рода. Царевна Текла изволила обратиться с прошением к государю-императору, она, кажется, в близком родстве с вами. Думаю, вам будет приятно подсобить престарелой царевне. Я освобождаю вас от иных пору-

чений. Надеюсь, дня за два вы управитесь с этим делом.

Николоз сделал вид, что не замечает плохого настроения ваемого злорадства начальника экспедиции, злорадства мелкой душонки, которую тешило еще одно унижение бывшего царского дома.

— Извольте, ваше превосходительство, с превеликим удовольствием окажу прославленной царевне эту небольшую услугу. Уверен, что наш государь-император со свойственной ему отзывчивостью отнесется к прошению дочери доблестного Ираклия, которая с оружием в руках отстаивала свободу и честь своей родины. — С неповторимой иронической интонацией произнес столоначальник слова «со свойственной ему отзывчивостью», и Ильинский пожалел о том, что вознамерился унизить этого беспардонного князя.

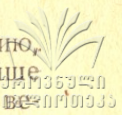
— А впрочем вам вполне хватит и одного дня, князь, — Ильинский уткнулся в бумагу, давая знать, что разговор окончен.

— Думаю, управлюсь за сегодняшний вечер, ваше превосходительство, — оставил за собой последнее слово столоначальник и вышел из кабинета.

Никогда не думал столоначальник экспедиции суда и расправы верховного грузинского правительства князь Баратов, что ему придется писать прошение от имени царевны Теклы, сестры его прабабушки Елизаветы, на имя ненавистного Николая.

«Всепресветлейший, державнейший, великий государь-император Николай Павлович, — выводил своим красивым, каллиграфическим почерком Бараташвили, ужасаясь содержанию прошения дочери великого Ираклия, — самодержец Всероссийский, Государь Всемиловивейший. Просит грузинская царевна Фекла Ираклиевна о нижеследующем:

По закладной, совершенной верховного грузинского правительства в экспедиции суда и расправы 10-го августа 1835 года № 261, заняла я у комиссионера Григория Шадинова 5000 рублей серебром с залогом собственно мне принадлежащей части сада. По этой закладной означенный Шадинов получил уже полное удовлетворение, о чем и сделана им надпись на ней. А как значущееся в этой закладной место продано мною г. коллежскому асессору Ивану Караеву и о том



пред сим подано мною прошение в оную экспедицию, то представляя при сем ту закладную, всеподданнейше прошу, дабы высочайшим Вашего императорского величества указом повелено было, сие мое прошение приняв, записать и представляемую мною закладную уничтожить, и числящееся по той запрещение разрешить, и согласно поданному мною прошению совершить купчую крепость коллежскому асессору Краеву.

Всемилоостивейший государь, прошу Вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить.

К подаче надлежит верховного грузинского правительства в экспедицию суда и расправы. Прошение это со слов просительницы писал князь Баратов. ამ არზაზედ ხელს ვაწერ საქართველოს მეფის ასული თეკლა ირაკლიევიძისა».

Со слезами на глазах смотрел Тато, как одряхлевшая Текла еле водила пером по бумаге, бессмысленно улыбаясь и поминутно утирая платком слезящиеся, давно потухшие глаза. Ослабевшие пальцы, некогда уверенно сжимавшие эфес шашки, еле удерживали гусиное перо. Этот каналья Ильинский правильно рассчитал — вся эта сцена удручающе подействовала на впечатлительного Николоза. Рядом со священным именем легендарной царевны-вонительницы фигурируют имена каких-то купцов и коллежских асессоров. Посмотрел бы покойный Ираклий на своих потомков, сочиняющих эту бумагу! Самое страшное, что старая Текла даже не чувствует этого унижения, интересуясь лишь результатом тяжбы.

— Как думаешь, сынок, уважит мою просьбу русский царь?

— Уважит, непременно уважит, Текла-батонишвилло², — успокоил старуху Николоз и поднялся.

— Может, поужинаем вместе, сынок, давно не ви-

¹ Под этим прошением подписывается дочь царя Грузии Текла Ираклиевна (груз).

² Текла-батонишвилло (груз.) — царевна Текла.

дела тебя. Как поживает наш Мелитон? Когда он кричит у себя во дворе, его голос доходит до моего дома, ну и думаю, в добром ли здравии князь Мелитон? А что Ефемия? Все позабыли меня.

Ужин у царевны довершил унижение, выпавшее этим апрельским днем на долю Николоза. От несвежих фруктов и скисшего вина веяло увяданием и распадом.

Сбивчивые видения вызывала своим хриплым, старческим голосом угасающая Текла. Начинала какой-то рассказ, но обрывала его на полуслове, принималась за другой, смеялась без причины, дергая за рукав своего внучатого племянника, называя его то Вахтангом, то Григолом.

С тяжелой душой покидал Тато полуразвалившийся дом дочери Ираклия возле Метехского моста, дом, который семь лет назад был штабом заговорщиков, где строили свои смелые, но, увы, бесплодные планы руководители заговора — сыновья Теклы Александр и Вахтанг Орбелиани. Апрельская муть Куры соответствовала настроению столоначальника.

...Ложусь и слушаю, как не спеша
Течет Кура, журча на перекатах.
Она сейчас зеркально хороша,
Вся в отблесках лазури синеватых... —

неволью вспомнил Тато написанные незадолго до этого тяжкого свидания стихи.

А сегодня Кура гонит к Каспию свои грязно-коричневые воды, усугубляя мрачные раздумья чиновника экспедиции суда и расправы. Ну и мерзавец этот коротышка Ильинский.

На следующее утро Николоз показал начальнику палаты прошение. Ильинский пробежал глазами бумагу и одобрил текст.

— Прекрасно, князь, коротко, ясно и убедительно. Можете отослать прошение в Петербург. А как здоровье царевны?

Долгим, тяжелым взглядом ответил столоначальник на этот вопрос и молча вышел из кабинета.

* * *

Из шутивного послания Миши ясно одно — ему страсть как хочется узнать, кому посвящено стихотво-

рение «Астра», а раз так, не мешало бы немного поучить его.

Тато писал Михаилу Туманишвили:

«Спасибо, брат, за письма — за удовольствие. Последнее из них читали мы с Захарием Орбелиановым. Это была критика или, лучше, послание к сочинителю „ასტრა“. Прекрасно! Только, кажется, оно не достигнет цели, то есть ты не узнаешь, кто эта неведомая „ასტრა“. Это тайна сочинителя. Он писал не для тебя и не для света; писал для нее одной; она его понимает, и он этим доволен. Чего же ему больше? Нужды нет, понял ли ты его или нет. Мы все знаем только, что предмет украшает стихи. А если хочешь знать одно только значение слова „ასტრა“, то это очень просто: оно взято с французского *astre*¹...

Скажу тебе новость, თუ არ გაჯავრდებო². Я еду сегодня вечером в д. Мцкнети³. Зачем? А затем, что она там. Мать ее просила меня провесть с ними несколько дней. Каковы должны быть эти дни? Ах! მამ მოკვდო, ბზ!⁴

Однако ж кончим беседу, а то прозеваю на почту. Ты знаешь, я не люблю заготовлять заранее письма.

Прощай, пустынный Алазанской долины!

Поведай мне что-нибудь о деде твоей долины!

Весь твой, Н. Баратов!»

Кончив писать, Тато невольно вспомнил, что Катина нынче в Цинандали.

Что ж, видно так слепил его бог, что ему доступны одновременно и глубокая, неизлечимая любовь, и сильное увлечение.

В четверг утром Николоз отпросился у Ильинского до понедельника, заявив ему без обиняков, что на-

¹ *Astre* (франц.) — звезда.

² Если не рассердишься (груз.).

³ Цхнети.

⁴ Так умри, бз! (груз.).

правляется в Цхнети «по делам сердечным». Начальник палаты по-своему любил своего чудаковатого столоначальника, ценил его усердие и бескорыстие, инстинктивно чувствуя, что Баратов — личность незаурядная, хотя его независимость и неукротимый нрав раздражали respectable сановника.

— Извольте, извольте, князь, — милостиво согласился Ильинский. — В ваши годы и мне приходилось манкировать делами службы ради дел амурных.

«Врешь, милейший, — думал про себя Николоз, выходя из кабинета Ильинского, — не было у тебя никаких дел амурных, а если и были, то, конечно уж, не мешали протирать штаны в канцелярии».

Ранним августовским утром Николоз верхом отправился в Цхнети, ведя на привязи белую кобылку, которая предназначалась для Дельфины. Тато давно обещал подруге устроить прогулку верхом в предместьях Тифлиса и теперь наконец выполнит свое обещание. Мать Дельфины — моложавая и на редкость энергичная кондитерша из Прованса сразу же решила, что молодой князь Баратов — незавидная партия для ее старшей дочери: беден, калека, никакого благочестия в характере, вечно балагурит и дурачится да еще, говорят, сплетник и донжуан. Правда, фамилия княжеская, но бог мой, в этой удивительной стране все сплошь дворяне и почти у всех царское происхождение, только вот с деньгами у них туго... Нет, лучше, чтоб избранниками ее дочерей были люди не столь знатного происхождения, но с достатком. Николоза забавляла плохо скрываемая тревога этой наседки, и он любил подтрунивать над чадолюбивой булочницей, угрожая похитить Дельфину и поселиться с ней в горах Кавказа. Сестры Лабель смеялись шуткам милого Николя, но практичной кондитерше они были не по душе. И все же она пригласила этого повесу погостить у них в Цхнети, где они сняли на лето большой одноэтажный дом, принадлежавший армянину Шахгулову, торговавшему в Тифлисе молоком и мацони.

Тато приближался к Цхнети, стараясь разобраться в своих чувствах к Дельфине. Она влекла его к себе прежде всего необычной для соотечественниц Николоза непринужденностью, подавляющим порой мужскую волю обаянием духовно, может быть, неразви-

той, но красивой и чувственной женщины, для которой интимная сфера — единственное доступное средство самоутверждения. С Дельфиной Тато отвлекался от тягостных дум, как бы сбрасывал с себя бремя неразрешимых проблем. Прилично владея французским языком, Тато предпочитал говорить с Дельфиной по-русски, а то и по-грузински, по-детски радуясь диковинному произношению своей подруги, немилосердно, но очень мило коверкающей русские и грузинские слова. Николозу нравилось, как Дельфина произносила его ласкательное имя Тато, делая ударение на последнем слоге и растягивая конечную букву «о».

Николоз, все сильнее и сильнее увлекаясь этой провансальской мадонной, стремился развить в ней духовное начало, приобщить к тому богатому образу и мелодиями миру, в котором жил сам. Тато, конечно, понимал, что это очередная нашедшая на него блажь, что природа создала Дельфину именно такой, какая она есть, но он все же делал отчаянные попытки вырвать девушку из тисков повседневной обыденности и серости.

И Дельфина по-своему любила этого странного, даже чудаковатого молодого князя, который чем-то для нее не объяснимым отличался от всех остальных молодых людей, окружавших семью Лабель. Чисто женская интуиция подсказывала дочери кондитерши, что юный Баратов возвышается над всеми душой и разумом, несмотря на все свои выходки, шалости и дерзости, что это верный друг, который никогда не подведет и не покинет в беде. Но, боже мой, до чего же неуравновешенный характер у Николая! Конечно же, Дельфине льстило и то, что Баратов — поэт, что он посвящает ей стихи и называет ее своей капризной музой. Не противясь человеческому и женскому влечению к молодому Баратову, Дельфина, как и мать, практичная и смекалистая, не строила никаких планов насчет дальнейшей совместной жизни с ним, тем более, что она знала от многочисленных посетительниц кондитерской мадам Лабель, что ее чичисбей по уши влюблен в мадемуазель Екатерину, дочь генерала Чавчавадзе. Это тоже по-своему льстило

Дельфине — дочь простой кондитерши отвоевывает у сказочно красивой и богатой княжны сердце рыцаря и поэта.

Нередко Дельфина устраивала Николозу бурные сцены ревности, послужившие поводом к написанию одного из шедевров грузинской лирики — стихотворения «Моей звезде».

Своим красивым почерком переписал Тато это стихотворение и подарил Дельфине, которая сохранила его, так же как и другое стихотворение, «Astre», до конца своей долгой и унылой жизни.

...Сестры Лабель весело приветствовали Николоза. На нем была белая черкеска, светло-голубой архалук и белые мягкие сапоги с загнутыми кверху носками. Тато поцеловался с девушками и чинно приложился к руке мамыши Лабель, отдохавшей в ялтенной качалке.

Дельфина сварила кофе, и все уселись на просторном балконе шахгуловского дома.

Потом Тато и Дельфина, отпросившись у мадам Лабель, направились верхом к Бетанийскому монастырю. В пути Николоз рассказывал французенке о прошлом своей родины, о своем великом предке Сулхане-Саба Орбелиани, тщетно добивавшемся покровительства далекой, равнодушной к судьбам Грузии Франции. Как зачарованная, слушала своего спутника Дельфина. Ее волновало совсем не то, что поведал ей Баратов, а то, как он говорил, как поминутно увлажнились миндалевидные темно-карие глаза молодого князя, как звучал его высокий мальчишеский голос. Почти материнскую нежность почувствовала в тот день Дельфина по отношению к своему другу, а когда Тато преклонил колена перед фреской царицы Тамар и начал молиться, тихо заплакала, предчувствуя скорую разлуку с этим ни на кого не похожим юношей, понимая, что ничего подобного не повторится больше в ее жизни.

...Как в бреду, захлебываясь французскими ласкательными словами, с какой-то одержимостью целовала Дельфина мгновенно опьяневшего от страсти Николоза, а когда они наконец пришли в себя, заметили, что солнце зашло, оставив продолговатый багряный

след в том месте, где горы сливались со знойным августовским небом.

Ужинали в небольшом духане, что стоял на крестке двух дорог, чуть повыше Бетании. Тато смотрел в голубые, светящиеся счастьем глаза Дельфины, на ее смеющиеся чувственные губы и думал о великом преимуществе женщин, для которых любовь — это вся жизнь, смысл существования, сбывшаяся мечта.

В сладостном угаре пролетели цхнетские каникулы.

Опустошенным возвращался Николоз в раскаленный августовским зноем Тифлис, ощущая на своих губах терпкий аромат иступленных поцелуев Дельфины.

И откуда было знать девушке из Прованса, вышедшей вскоре замуж за русского офицера и родившей ему четверых детей, что ровно через сто лет, в 1938 году, выдающийся грузинский поэт Георгий Леонидзе вторично обессмертит ее в благодарность за счастливые минуты, подаренные Николозу Бараташвили в Цхнети.

* * *

Тато писал Григолу в Дагестан:

«Поклон с того света от отца Игнатия. Прошел месяц со дня его кончины. Несчастный! Вот человек, который по своему положению в свете более всех страдал. Минувшее проходило перед ним и волювалось, как море-океан».

Летописец и придворный священник при Ираклии II и последнем царе Грузии Георгии XII Игнатий Иоселиани был частым гостем Баратовых. При полной противоположности характеров и политических воззрений Игнатий и Мелитон были неразлучными друзьями. Воспитанник и апологет Патара Кахи, душеприказчик злосчастного Георгия XII, участник заговора 1832 года, отец Игнатий был для юного Николоза живой легендой.

Впервые от него узнал Тато, как немилосердно расправился последний грузинский монарх с его дедом-тезкой — Николозом Бараташвили. Ниния (так назы-

вали отца Мелитона при дворе) был большим шутиком и острословом. Женильба на дочери Ираклия II, сестре Георгия XII, выдвинула его в первую очередь царедворцев, но врожденное остроумие и склонность к злословию сыграли роковую роль в его судьбе.

Правда, Ираклий терпимо и даже благосклонно относился к сатирическим упражнениям зятя даже в тех случаях, когда Ниния переходил всякие границы и осмеливался подтрунивать над членами царской семьи, за исключением самого Ираклия, которого Ниния обожал за его высокие достоинства, в том числе и за снисходительность к злословию.

Как-то Ираклию понадобился Ниния, и он дал своему придворному азнауру поручение найти и привести зятя во дворец. Азнаур оказался новичком, недавно прибывшим из Ахалцихе и не знавшим Нинию в лицо. Смущенный дворянин признался в этом царю.

— Не беда! — заулыбался Ираклий. — Сбегай на салакбо¹, подойди к самой многочисленной кучке людей и того, кого они будут слушать, раскрыв рты, зови ко мне.

Пораженный азнаур устремился к салакбо и убедился в великой проницательности Патара Кахи. Действительно, вокруг Нинии собралась самая многочисленная толпа, хохот которой был слышен за версту от места сбора.

После кончины Ираклия, когда вопрос о престолонаследии решился в пользу Георгия, невоздержанный на язык зять имел неосторожность громогласно заявить: «Боже, что за царь достался нашей злосчастной Грузии». Георгию немедленно донесли эти слова. Шесть месяцев длился траур по покойному Ираклию, и Георгий проявлял сдержанность, хотя и крепко помнил обиду. А когда траур кончился и Ниния явился во дворец, Георгий приказал своим телохранителям избить зятя и выгнать его вон, что и было с рвением выполнено молодыми дюжими азнаурами из царской охраны.

— Теперь будешь знать, какой царь достался Гру-

¹ Салакбо (груз.) — площадь, где обычно собирались горожане, дословно — место для болтовни.

зии! — это были последние слова, которые услышал от венценосного брата своей жены Ниния. Впрочем, опала никак не повлияла на характер жизнерадостного князя. Он и наградил царя кличкой «закичамия», которая прочно укрепилась за любимшим чревоугодничать Георгием.

Тато до упаду хохотал над этим рассказом Игнатия, а Мелитон хмурился, считая поступок отца недостойным дворянина и члена царской семьи.

Однако Ниния, как видно, не держал зла на своего венценосного родственника, более того — остался верным слугой вдовы злосчастливого Георгия XII. Когда вдовствующая Мариам покинула Грузию, среди немногих, кто последовал за опальной царицей и малолетними царевичами — Джибраилом, Ильей, Окропиром и Ираклием был и Ниния — Николоз Бараташвили.

Повзрослевшего Николоза особенно интересовали вопросы, связанные с историей ликвидации грузинского царства, которую Игнатий до конца своих дней остро переживал. Отсюда и брало начало его двойственное отношение к Ираклию, ибо старый Иоселиани был уверен, что Георгиевский трактат предопределил присоединение Грузии к России.

Однажды отец Игнатий показал Николозу копию переведенного им и Георгием Авалишвили на русский язык послания Георгия XII императору Павлу I.

— Это роковое письмо окончательно решило судьбу Грузии. Не внял покойный царь моим советам, слишком был напуган претендовавшими на престол царевичами, — сокрушался отец Игнатий.

«Царство и владение мое, — говорилось в этом письме, — отдайте непреложно и по христианской правде и поставьте его не под покровительство императорского всероссийского престола, но отдайте в полную его власть и на полное его попечение, так, чтобы отныне царство Грузинское было бы и в империи Российской на том же положении, каким пользуются прочие провинции России. Затем нижеайше представьте императо-

¹ Обжора, чревоугодник. (груз.).

ру всероссийскому, чтобы, принимая царство Грузинское в полную свою власть, он обнадежил бы меня всемирно-истиннейшим письменным обещанием, что достоинство царское не будет отнято у дома моего, но что оно будет передаваться из рода в род, как при предках моих».

— Конечно же, Павел, а затем Александр имели в виду этот документ, — говорил отец Игнатий, — они уловили роковое противоречие в послании Георгия. Сохранить династию при ликвидации грузинского государства и превращении его в одну из губерний империи было, конечно, утопией, но блаженной памяти Георгий тогда уже был неизлечимо болен, как и его царство.

— А как вы думаете, отец Игнатий, не пиши Георгий этого письма, удалось бы сохранить государство грузинское? — спрашивал Тато. — Разве не нашлось бы какого-нибудь другого повода включить Грузию в состав России?

Тягостным молчанием отвечал бывший придворный священник на этот простой и ясный вопрос, в котором, собственно, содержался и ответ.

— Великим полководцем и бесстрашным воином был твой прапрадед, — говорил сыну Мелитон, — но слаб был в дипломатии. Чуть что — хватался за меч, вот и обескровил страну бесконечными войнами. Соломон был похитрее, умел находить общий язык с исконным врагом, уберег Западную Грузию от многих нашествий.

Отец Игнатий не соглашался с Мелитоном, страстно доказывая, что все без исключения войны были навязаны Ираклию мусульманскими соседями, стремившимися стереть Грузию с лица земли.

Часто до утра не смыкал Тато глаз после этих бесед. Не праздное любопытство, не исторический интерес бередили его душу. Он всем своим существом чувствовал, что от ответа на этот мучительный и сложный вопрос зависит вся его будущая жизнь, его общественная деятельность и творчество. Но где, за какими семью печатями укрыт правильный ответ на этот главный вопрос? Никогда не покинут праправнука Ираклия думы о судьбе Грузии, о ее независимости. Да, независимость — с одной стороны, но с другой... Народ наш оказался на грани физического вымирания и духовной деградации. От этого факта не уйти. Однако вырвавшись из когтей восточной Сциллы, выстоит ли мой на-

род перед колонизаторской Харибдой? Но стоит ли спасаться только для того, чтобы перестать быть грузинами? Может быть, лучше пасть в сражении? А может, есть третий путь, который скрыт от нашего разума? Кто отвечает на этот вопрос и когда?

Который раз обдумывал Николоз стержень новой поэмы, задуманной еще в последнем классе гимназии. Этот стержень — ответ на вопрос, прав ли был Ираклий, связав судьбу Грузии с Россией? А если правда была на его стороне, куда толкали нашу злосчастную родину люди тридцать второго года? Допустим, заговор удался бы, русские части и чиновничество перебиты или изгнаны за пределы Грузии, ворота Дарьяла надежно закрыты. Что потом? Каким образом после истребления русских на Кавказе мыслители заговорщики вернуться к исходным позициям Георгиевского трактата?

Ведь Россия легко восстановила бы свое владычество на Кавказе. Какими силами могла противостоять этому колоссу обескровленная Грузия? Но допустим, произошло чудо и Россия отступилась от Грузии вовсе. Что потом? Оказаться вновь лицом к лицу с нашими извечными врагами? Неужели заговорщики серьезно верили лживым заверениям восточных деспотов в добрососедстве в случае полного разрыва с Россией? Кто давал эти гарантии? Шахи и султаны, которых вовек не отмыть от грузинской крови.

Но с другой стороны, колониальный режим мертвой хваткой держит злосчастный край, подобно удаву обвивая его и постепенно сжимая стальные кольца. Изгоняется отовсюду грузинское слово, грузинский дух, и мы уже стали Меликовыми, Тумановыми, Эристовыми, Баратовыми... Значит, все же за правое дело поднялись рыцари тридцать второго? Царевичи боролись за утраченный престол, Додаев мечтал о республике или, на худой конец, о конституционной монархии. Но как воссоздавать Грузию под нависшим над ней ятаганом, не опираясь на могущество России? Свобода или смерть? Это звучит красиво и благородно, но свобода нужна не мертвым, а живым. Нам надо выжить и бороться. Разве Рылеев, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и другие великие патриоты России мирились с самодержавием?

...Выжить и бороться! Выжить можно, только сражаясь на могущество России. И бороться вместе с Россией Пушкина и Рылеева против России Бенкендорфа. Иного пути у Грузии нет. Это единственный шанс выжить. Другого не дано. Конечно, в поэме этой мысли открыто не выскажешь, но я дам понять читателю, и сегодняшнему, и особенно завтрашнему, что правота избранного Ираклием пути вовсе не означает примирения с колонизаторской действительностью.

...Катина упросила отца устроить первое чтение поэмы у них в доме. Осторожный Александр Гарсеванович пригласил в тот вечер лишь немногих, не зная содержания «Судьбы Грузии», но предполагая ее крайнюю общественно-политическую направленность. Кроме членов семьи Александра Чавчавадзе, в гостиной собрались Манана и Маико, поэтесса Рахаэл Цицишвили, Дмитрий Кипиани, который, отбыв наказание за участие в движении 1832 года, дослужился до крупного сановника в канцелярии главноуправляющего, Георгий Эристави, Платон Иоселиани и Леван Меликишвили.

Чтение длилось менее часа. Тато стоял спиной к застекленной веранде: не хотел, чтоб свет падал на его лицо, поминутно менявшееся при чтении поэмы. И со своим голосом не всегда справлялся поэт — несколько раз он делал паузу, чтоб унять невольно возникавшее дрожанье в голосе, и все же последние строки поэмы —

Но все было раньше решено,
Ибо сердце царское давно
Твердо судьбы Грузии решило, —

произнес почти навзрыд и выбежал на веранду.

Поэма потрясла всех завсегдатаев чавчавадзевого салона. Ничего подобного не приходилось слышать им в жизни после несравненного Руставели. Масштабность и провидческая глубина этой небольшой стихотворной повести были поистине фантастическими, неправдоподобными. Целую бурю подняла «Судьба» в душах слушавших чтение. (Николозу казалось, что он читает плохо, было страшно, что до аудитории не дойдет сокровенный смысл произведения. Но поэт ошибался — он читал прекрасно, акцентируя там, где нужно, обнажая и обостряя скрытую в произведении мысль.)

По-разному восприняли поэму Николоза Бараташвили его первые слушатели и судьи. Александр Гарсеванович признался себе, что не ожидал ничего подобного от балагура Тато, который, правда, написал несколько недурных стихотворений, в том числе и такие чудесные, как «Раздумье на берегу Куры» или «Сумерки на Мтацминда», но чтоб он был в состоянии создать шедевр на историческую тему, этого Александр Гарсеванович не мог предположить. А как он точно и лаконично изложил все за и против нашего нынешнего положения! Гордость за талантливого, вдруг выросшего и возмужавшего ученика боролась в Александре Гарсевановиче с чувством невольной зависти поэта к великому творению другого поэта.

Что сказал бы Григол, если б был здесь? Неужели мы, его учителя, признанные метры новой грузинской поэзии, должны уступить пальму первенства этому ветреному хромоножке, подарить ему, как Жуковский Пушкину, свои портреты с надписями, свидетельствующими о победе ученика над учителями? «Поэма, безусловно, великолепна. Много противоречивых чувств и размышлений исторгнет она, и не только у поколений сегодняшней и завтрашней Грузии», — пророчески думал Александр Гарсеванович.

Иные думы одолевали Дмитрия Кипиани: «Как свободно дышалось в грозном тридцать втором! Какой ценой куплены мир и спокойствие Грузии, если это можно назвать миром и спокойствием! Все мы ныне верные слуги российского престола — душителя родного народа. Генерал Чавчавадзе весь свой богатейший опыт военачальника отдает укреплению карательной службы колонизаторов, Григол крошит, как капусту, несчастных горцев за то, что они хотят иметь родину, свой язык и веру, и я всеми силами стараюсь замолить старые грехи перед новым режимом. На что ты толкнул нас, Ираклий? Как мы предстанем перед судом всевышнего, что скажем в свое оправдание?»

Катина, Майко и Рахаэль плакали, Нина Александровна молча вышла из гостиной, и лишь Манана, ни к кому не обращаясь, спросила:

— Но почему Тато так зло надсмеялся над всеми

нынешними грузинками? Неужели все мы так дурилы? Свои женоненавистнические настроения Тато не смог скрыть даже в этой, столь прекрасной поэме.

Маико обняла вернувшегося в гостиную двоюродного брата, перекрестила и поцеловала его. Александр Гарсеванович крепко прижал к груди своего ученика, но ничего не сказал. Георгий и Леван чуть не задушили в объятиях автора «Судьбы Грузии», и Тато понял, что поэма удалась, что ее сокровенный смысл дойдет до читателя, в чем он до сегодняшнего дня сомневался.

* * *

Ужин у Михаила Туманишвили затянулся. Николоз, как обычно, от глубокой задумчивости переходил к безудержному веселью, теребил подвыпившего Сатару, без конца заставляя его петь. Сатара, глядя влюбленными глазами на молодого князя, пел до хрипоты, пел, собственно, ему одному, ибо никто не умел слушать его так увлеченно и самозабвенно, как он. К тому же Сатара был, пожалуй, единственным, над кем не подшучивал за столом этот странный юноша. Персиянин был не только великолепным певцом, но и поэтом. Между ним и Николозом всегда ощущалась незримая связь. Певцу льстило, что молодой Баратов всегда относился к нему не как к нанятому развлекателю, а как к равному, к товарищу.

Далеко за полночь прибежал взволнованный Леван Меликишвили:

— Тато! Сюда идет Илико. Этот сумасброд хочет вызвать на дуэль Магалова, слава богу, что его здесь нет. Говорил вам обоим, оставьте человека в покое, перестаньте подтрунивать над ним!

— Пустяки! Продолжай, Сатара! А жаль, что Магалова нет, его репертуар пополнился бы образом Илико-дуэлянта.

— Плохо кончишь, Тато, запомни мое слово. Не все так благосклонны к твоим розыгрышам, как я, — невозмутимо вставил Платон, попивая кофе.

— За великодушие — приз! Я расцелую твои роскошные бакенбарды, а Сатара посвятит тебе новую песню на мои стихи! — и Николоз повис на могучей — шее Платона.

Князь Илья, как две капли воды похожий на свое-

го племянника-однолетку, быстро вошел и оглядел присутствующих.

— Ты пришел как нельзя вовремя, дорогой дядя! — слегка хромя, двинулся к вошедшему Николоз, — Мы как раз пили за тех, кого нет с нами, — за тебя и за Сашу Магалова.

— А где этот подлец? — И Орбелиани грубо оттолкнул племянника, подававшего ему бокал с вином. Бокал упал на пол и разбился. За столом воцарилось неловкое молчание. Платон грузно поднялся со своего кресла и подошел к князю Илье.

— Не надо, Илико, — сказал он тихо.

— Всему есть предел, надо проучить нахала!

Сатара начал было песню, но Николоз мягко остановил его:

— Погоди, родной. Ты что, в своем уме, дорогой дядюшка? Побереги свой пыл для Шамиля. Ты ищешь Сашу? Я здесь за него.

— Отлично! Я вызываю тебя, князь Баратов!

— Везет же Шамилю, прихлопну одного дядю, второй дядя, мой любезный Григол, прихлопнет меня, его опять сошлют, а Шамиль гуляй себе на здоровье!

— Я отучу тебя от кривлянья, дорогой племянник! Извольте драться завтра же на рассвете. Поручик Атажукин, окажите мне честь, будьте моим секундантом.

— Собственно, завтра уже наступило, — Николоз посмотрел на массивные бронзовые часы, — моим секундантом будет Магалов. Леван, pistols за тобой. Иду писать завещание. Встречаемся в восемь утра у Московской заставы, кстати, там недалеко и кладбище.

У Михаила Туманишвили задержались трое — Леван, Платон и мгновенно отрезвевший Атажукин.

— Дядя и племянник будут стреляться? Не по-кавказски, не по-кавказски, — сокрушался добродушный кабардинец.

— Леван, зарядишь pistols холостыми пулями, обменяются родственники выстрелами, вроде бы оба промахнутся, и делу конец, — предложил Платон.

— Не по-кавказски, не по-кавказски, — бормотал Атажукин, и было неясно, что не по-кавказски: то, что

стреляются близкие родственники, или способ избежать кровавой развязки, предложенный Платоном.

— Отлично, так и сделаю, — обрадовался Леван. Поручик, мы можем положиться на вас?

— Идет! — отозвался после некоторой паузы Атажукин. — Только князя ничего не должны знать об этом.

Ровно в восемь утра все были у Московской заставы. Сашу Магалова, вдребезги пьяного, вытащили из укромного грота Ортачальских садов и посадили на коня. Он так и не понял, кто с кем и почему дерется.

По дороге к месту дуэли Леван принялся нарочито акцентированно утешать Николоза, надеясь, что тот поймет — друзья сделали все, чтоб предотвратить печальный исход.

— А меня тебе не жалко? — возмутился Илья.

— Конечно, нет, ты зачинщик этой глупой дуэли, и ни о какой жалости к тебе не может быть и речи.

— Пожалей, пожалей его, Леван, ему тоже легче станет, — вмешался в разговор Николоз, налегая на слово «тоже» и тем самым давая понять другу, что он догадывается о розыгрыше.

Место в двух верстах от кладбища выбрал Атажукин. Стреляться решили в пятнадцати шагах друг от друга. Барьером послужили сабли, воткнутые в землю Атажукиным и Ильей, ибо секундант Николоза — Магалов, которого в седле окончательно разморило, уснул мертвецким сном, что вызвало новый каскад шуток неугомонного Тато.

Договорились, что пострадавшего доставит к близким противник. Леван и Атажукин настояли, чтобы стороны сделали только по одному выстрелу. Перед самым началом дуэли Левану удалось шепнуть Николозу, что пистолеты заряжены холостыми пулями.

Атажукин дал знак, и противники начали сходитьсь. Не доходя до барьера, Николоз спустил курок, на всякий случай отведя пистолет влево от цели. Раздался оглушительный выстрел. Был осенний ветреный день, и дым рассеялся быстро. Илья увидел затянутого в черный сюртук, как будто вдруг похудевшего Николоза. Он стоял прямо, опустив руки. В левой чуть дымился пистолет. «Неужели Тато левша? — подумал Орбелиани. — Неужели я должен его убить? Только потому,

что он любит дурачиться, как малое дитя, убить из-за этой свиньи Магалова, который нализался и храпит, как ни в чем не бывало? И как мне жить потом, что ж скажу Григолу?»

Князь Орбелиани, первоклассный стрелок, берет на мушку пространство поверх головы Николоза и спускает курок. Сквозь нерассеявшийся дым изумленный Илико видит, как Тато хватается за сердце, делает несколько неуверенных шагов по направлению к своему противнику, а затем как подкошенный падает лицом вниз. Орбелиани первый подбегает к лежащему на земле. Туда же устремляются ошеломленные Леван и Атажукин.

— Тато, Тато, дорогой мой, родной мой, — трясет князь бездыханное тело племянника, — ты ранен? Бога ради, скажи хоть слово.

Илико одной рукой поддерживает отяжелевшее тело, а другой шарит под сюртуком, ища рану.

— Осторожно, дурак, не тряси, кишмиш вывалится из кармана, — почудился чей-то шепот убитому горем князю.

«Наверное, у меня начался бред», — подумал Илико и посмотрел в лицо «убитому». Губы сжаты плотно, темно-карие миндалевидные глаза остекленели.

— Тато, Тато!

Теперь несчастного Николоза принялись трясти все трое.

— Говорю вам, не трясите, весь кишмиш вытрясли из кармана!

«Убитый» присел, посмотрел на своего «убийцу» и показал ему язык. Илико стало дурно. Придя в себя, князь слабым голосом спросил:

— Где Тато, он живой?

— Живой, живой, Илико! Ну, обними меня, родной.

Радость захлестнула молодого Орбелиани. Тато жив! Задира, острослов и кривляка Тато! Похожие, словно близнецы, юноши крепко обнялись, плача и смеясь.

...Ровно через три года задира, острослов и кривляка Тато посвятит Илье Орбелиани свое гениальное стихотворение «Мерани»...

Из своей личной милиции выделил генерал-майор Ахмет-хан¹ двадцать аварцев, отборных стрелков и разведчиков, поручив Илье Орбелиани совершить глубокий рейд в провинцию Андалал, выяснить судьбу Синаксарова² и Гарун-бека³ и, если они попали в плен к Шамилю, попытаться выручить их.

— Напрасно не рискуй, князь, — наставлял Илью затянутый в мундир русского генерала низкорослый Ахмет-хан, — если Шамиль схватит тебя, не сносить тебе головы: люто ненавидит имам и меня, и брата твоего Григор-хана. Не думаю, чтобы Шамиль расправился с Синаксаровым и Гарун-беком, он скорее держит их заложниками. После того, как русские пленили Джемал-эд-дина⁴, Шамиль воздерживается от расправы над высшими офицерами, рассчитывая обменять их на сына. С местным населением будь осторожен, князь: больше половины — лазутчики имама.

Март восемьсот сорок второго был на исходе, но снег лежал в горах, и было холодно. Отряд Ильи медленно приближался к Гунибу, где, по предположению Ахмет-хана, могли содержаться пленные. Передвигались преимущественно ночью по ущельям, днем укрывались в горных чащобах, избегая встреч с жителями аулов. И все же лазутчики Шамиля выследили разведчиков Ахмет-хана, и у самого Гуниба отряд князя Орбелиани попал в засаду. Не успел Илья схватиться за оружие, как был сброшен с коня ловко накинутой петлей. Лишь одному аварцу удалось скрыться, так как он несколькими минутами раньше отстал шагов на пятьдесят от отряда. Остальные побросали оружие, видя бесполезность сопротивления, — на каждого было уставлено чуть ли не по пять стволов.

Двое суток продержали незадачливых разведчиков

¹ Ахмет-хан — находившийся на службе российского императора правитель Аварии.

² Синаксаров — начальник Самурского округа, участник боев против Шамиля.

³ Гарун-бек — казикумухский хан, участник боев против Шамиля.

⁴ Джемал-эд-дин — сын Шамиля, плененный русскими в 1839 году.

в зловонной яме, пока на третий день не прибыл в Гу-
ниб сам Шамиль с тремя мюридами.

Свой суд он вершил на площади в центре аула, пе-
ред небольшой мечетью. Самый младший из аварцев
Ахмет-хана, девятнадцатилетний Иса, которому была
обещана жизнь, днем раньше подробно рассказал лю-
дям Шамиля о том, кто и с какой целью послал отряд
в Андалал, и о том, что командует отрядом адъютант
генерала Фезе, майор князь Орбелианов.

— Ахмет-хан послал вас на встречу с Синаксаровым и Гарун-беком, что ж, я исполню желание нетерпеливого хана, — скривил в улыбке губы Шамиль.

С трудом признал пораженный Илья начальника Самурского округа и brave Гарун-бека в изможденных оборванцах, которые, еле переставляя ноги, приближались к площади.

— Кем приходишься Григор-хану, майор? — спросил Шамиль, откинув темно-серую бурку и пристально всматриваясь в молодого Орбелиани.

— Брат он мне, — просто ответил князь Илья, не зная, как обращаться к Шамилю, то ли по имени, то ли по духовному званию.

— Смелый ответ, — усмехнулся Шамиль, — жаль, что не сам Григор-хан ошастливил меня своим посещением. Знаешь, что ждет тебя и твоих людей, майор Орбелиан?

Князь Илья ничего не ответил на это Шамилю, мысленно моля бога, чтобы он дал ему силы не обрадовать заносчивого имама минутной слабостью.

— Что ж, начнем с изменников, отступников от нашей веры, продавшихся врагам ислама. Головы их — в дар Ахмет-хану как напоминание о его близкой участи.

Пошатнулся князь Илья, еле удержался на ногах; судорога свела скулы, тело стало ватным; молодой Орбелиани видит, как медленно двигаются узкие, сложенные в презрительную гримасу губы имама, но голоса его не слышит.

В минуту охрана Шамиля обезглавила девятнадцать рослых аварцев, специально подобранных Ахмет-ханом для своей личной милиции.

Эта кровавая расправа привела князя Илью в чувство. Острая, обжигающая ненависть придала ему силы. Орбелиани выпрямился, готовясь достойно встретить свой смертный час.

— Я покарал изменников и вероотступников, майор, — как бы оправдываясь перед пленником, сказал Шамиль. — Но почему вы, грузины, помогаете русскому царю покорять горцев? Хотите нашей гибелью заслужить его милость?

При всей безнадежности своего положения князь Илья удивился тому, что невольно вслушивается в жесткие слова имама, и они, о боже, находят отзвук в его душе. Пленник по-новому посмотрел на Шамиля, и тот сразу заметил эту перемену во взоре своей жертвы.

— Что, князь (впервые Шамиль назвал Илью не майором, а князем), чувствуешь правоту моих слов? Аллах просветлил тебя перед смертью... Я должен казнить тебя. Много правоверной крови на руках твоего брата. Скажи свое последнее слово.

— Никогда не предполагал, что прославленный имам Шамиль окажется обыкновенным убийцей и варваром, — чеканил каждое слово примирившийся со смертью и вдруг успокоившийся князь Илья. — Неужели ты думаешь, что этой мерзкой расправой запугал меня или их, — Орбелиани кивнул в сторону Синаксарова, Гарун-бека и их людей. — Ты не можешь смутить нас — все мы смертны, а говоря по правде, лучше смерть, чем твоя милость!

— Молодец, князь! — воскликнул Шамиль и поднялся (Илья с удивлением заметил, что имам мал ростом и, по всему видно, не обладает большой физической силой). — Так еще никто не говорил со мной. Аллах внушил мне, что я должен пощадить тебя, несмотря на твои дерзкие слова. Этих троих (Шамиль указал на Илью, Синаксарова и Гарун-бека) в мой обоз, а остальных, — он сделал длительную паузу, — раздеть догола и пусть убираются на все четыре стороны.

Имаму подали белую крупную кобылу, и он с помощью телохранителей сел в седло.

— Подумай о том, что я сказал тебе, князь, — бросил Шамиль пленнику прежде, чем тронуть коня, и молодой Орбелиани поймал себя на том, что в его отно-

шение к предводителю горцев вкралось что-то новое и пока необъяснимое.

Перебежавший к русским от Шамиля лезгин зат, присутствовавший при кровавой расправе над разведчиками Ахмет-хана и разговоре князя Ильи с грозным имамом, рассказал обо всем виденном и слышанном в тот роковой день друзьям и близким пленного Орбелиани. Дошла печальная новость и до Николоза. Смешанное чувство горечи и гордости охватило всех, кто узнал о судьбе князя Ильи. Живо обсуждались эти события и в салоне Мананы, где присутствовали в тот раз главноуправляющий Головин и его жена, дочь Фонвизина, всем сердцем полюбившая Грузию и то общество, в котором вращались высшие русские сановники.

— А я и не предполагала, что грузинский офицер мог дать иной ответ, чем тот, который бросил в лицо Шамилю князь Орбелианов, — сказала Головина, выслушав рассказ о пленении князя Ильи.

Об этом лестном отзыве в тот же день Тато написал Григолу в Дагестан.

...Много бессонных ночей провел Николоз, думая о судьбе своего дяди-однолетки, друга, с которым связана была вся его жизнь. Вспоминал годы, проведенные в гимназии, в литературном кружке Соломона Додашвили, годы надежд, иллюзий и несбывшихся мечтаний; живо представлял озаренное радостью лицо милого Илико в день памятной дуэли, когда тот наконец понял, что не убил его.

Каково ему нынче в дагестанской неволе? Не надломился ли отважный воин и рыцарь?..

«Странная у нашего рода судьба, — размышлял Бараташвили, всматриваясь в освещенные луной гордые очертания Анчисхати, — никто из нас не был равнодушен к бедам Грузии. Реваз Бараташвили, несмотря на богатство, славу и почет, ненавидел персов и их ставленника магометанина Ростома, взлелеянного этим непонятым Георгием Саакадзе. Реваз был главой заговора против Ростома, которому кровавый Аббас доверил Грузию, чтобы задушить ее руками грузина. Но не увенчались успехом старания Реваза и других патриотов — изменников, соглядатаев и доносчиков и

тогда было более, чем достаточно. Князь Бараташвили был схвачен, Ростом велел ослепить доблестного Реваза.

Другой мой предок — Сулхан-Саба Орбелиани¹⁸¹³⁵³²¹ наивно полагал, что «король-солнце» Людовик XIV бросит свой благосклонный взор на истекшую кровью Грузию; седой Саба преклонил свои ослабевшие колени перед надушенным Бурбоном. Но холодными оказались для моей родины лучи этого далекого солнца. Изысканные французские комплименты и ничего не значащие, туманные обещания вынес из ослепительных версальских палат удрученный баснописец и монах.

Дядя Григол, в свое время переложивший на грузинский лад «Исповедь Наливайки» Рылеева и стремившийся свалить новый режим на Кавказе, теперь помогает самодержавию укрепиться на Северном Кавказе и, увы, совсем не потому, что видит в этом путь возрождения Грузии, он тщится во славу русского оружия, получая от государя-императора одно воинское звание за другим. И мой Илико следует этим же путем...

А в чем судьба моя? В чем?.. И все же не напрасно была пропета короткая песня моей жизни. Я успел сказать современникам и потомству самое сокровенное, что томило душу и терзало сознание в эти жуткие, беспробудные дни...

Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.

Стрелой несется конь мечты моей.
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей!

«Вот что поэт думает про Илико, — писал Тато Григолу в Дагестан, отсылая ему первую редакцию «Мерани». — Не знаю, как тебе понравятся эти стихи. А здесь много слез, вымысла и правды скрестилось, разумеется, потому что все это говорит в неволе Илья, а не я. Когда я узнал о пленении Ильи, скажу по правде, крайне огорчился, дня три был огорошен и отягчен

тысячами разных диковинных дум и желаний, и если бы меня спросили, к чему стремлюсь, я не смог бы дать ответа. Наконец на третий день я написал эти стихи и как бы почувствовал некоторое облегчение. Стараюсь как-нибудь переправить их Илико. Я знаю, он в душе улыбнется, и не может быть, чтоб это не доставило ему какого-то утешения».

На плотную канцелярскую бумагу переписал Тато новые стихи своим четким, красивым почерком и вручил их возвращавшемуся в Дагестан Гамзату, подарив ему охотничье ружье с серебряной чеканкой — дар Ермолова за труды Мелитона Николаевича.

— Сумеешь передать письмо князю Илье — проси, чего пожелаешь.

Подкупленный находчивым Гамзатом сторож передал пленнику стихотворение Николоза Бараташвили «Мерани»..

КАХЕТИ

Был теплый сентябрьский вечер, и Александр Гарсеванович велел накрыть стол на балконе, залитом благоуханием цинандальской осени. Парк замирал в вечерней истоме, как бы отходя ко сну, чтобы наутро с новой силой влиться в многоголосье кахетинского рассвета.

Тато сидел между Ниной Грибоедовой и Давидом¹, Катина с отцом уселись напротив. Быть тамадой взялся молодой Чавчавадзе, недолюбливавший Николоза не столько за его неровный характер и колкий язык, сколько за неостывающее чувство к замужней сестре. Тато, напротив, обожал заносчивого Давида, ибо он был слеплен из той же плоти, что и Катина, а этого было достаточно, чтобы любить его.

Катина обещала показать своему другу бывший дворец Ираклия в Телави, комнату, в которой он родился и умер, а затем повезти на храмовый праздник Алавердоба.

¹ Сын Александра Чавчавадзе.

В дурмане счастья Тато плохо слушал короткостоты Давида и пространные воспоминания Чавчавадзе. генерала
УМ1339-11
2023010333

Он думал о том, что стоило родиться на свет и жить лишь ради этого вечера. Он не торопился вставать из-за стола, чтобы сказке не наступил так скоро конец и путешествие с Екатериной было все еще впереди. По обыкновению честно тянул из высокого хрустального бокала янтарное вино из чавчавадзевских погребов. Быстро хмелея, удивлялся, почему вокруг все сидят чинно, а не кричат от великой радости, которая, как ему казалось, охватила не только его, балкон циндандалского дворца, парк и округу, но весь золотящийся в лучах заходящего солнца мир, которому все можно простить ради одного этого сентябрьского вечера.

Александр Гарсеванович рассказывал что-то о своем участии в походах против Наполеона, и Тато мысленно удивлялся, как мог он четыре года назад написать стихи, посвященные охмелевшему от самовластия корсиканцу. «В мире есть один непобедимый полководец — это любовь», — думал Бараташвили.

Александр Гарсеванович с дочерьми уселись в фэтон. Давид и Тато предпочли ехать верхом, и маленькая кавалькада двинулась к Телави..

Молодой священник, высоко держа в правой руке трехсвечный канделябр, завел гостей в небольшую комнату, столь знакомую поэту по рассказам бабо Хорешан.

«Здесь он выиграл свое последнее сражение, шагнув в бессмертие, — думал праправнук Ираклия, — Ушел ли он из жизни с чувством правоты им содеянного или его томили сомнения в правильности избранного пути? А может, совсем иные думы одолевали умирающего монарха? Страшился ли встречи с всевышним не ведающий страха грозный властитель, боялся ли он его непререкаемого суда и приговора? Или вовсе не верил в бога надломленный воин, последняя надежда угасающей Грузии?»

И вновь, как в далеком детстве, явилось Николозу до осязаемости реальное видение — молодой Ираклий в шапке персидского сардара и пестром кафтане поверх кольчуги появляется в высокой арке Телавского

кремля. Звенит золотое оружие. Коротким взмахом небольшой красивой руки царь приветствует ликующую толпу и вскакивает на белого жеребца...

Роковой утратой и распадом веяло от опустевшего, запущенного дворца Ираклия II. Сводчатые окна, некогда веселившие взоры кахетинцев пестрыми, переливчатыми восточными витражами, ныне напоминали пустые глазницы черепа. Узорчатые деревянные балконы были кем-то разобраны, а на верхней площадке дворца уже появилась грозная предвестница гибели здания — дикая растительность.

Александр Гарсеванович осторожно прикоснулся к руке Николоза, выводя молодого человека из мрачного оцепенения. Как-то странно посмотрел очнувшийся Тато на генерала Чавчавадзе.

— Не напоминает ли вам, князь, этот дворец нашу Грузию?

Ничего не ответил на этот вопрос Александр Гарсеванович, лишь молча направился к выходу, пропустив вперед дочерей.

— Он пьян, — по-французски шепнул Давид отцу, — не обращай на него внимания.

— Увы, он прав, — тихо сказал Александр Гарсеванович, садясь в карету.

В уютной, умеренно освещенной свечами гостиной чавчавадзевского дома Тато вновь стал веселым — ведь впереди была поездка на Алавердоба. Он смешил сестер Чавчавадзе, подражая характерному кахетинскому говору, умолял Александра Гарсевановича и Давида удостоить его должности моурава цинандальского имения или в крайнем случае взять конюхом.

— Соглашайтесь, господа, ей-богу не прогадаете. Обещаю не воровать, не пить, не шалить с прислугой, плату за труды определяйте сами, могу и вовсе без жалованья, на одних харчах. Ну как, по рукам, князь!?

Александр Гарсеванович и сестры Чавчавадзе весело смеялись, а Давид находил все это недостойным фиглярством, все более раздражаясь, еле скрывал свою неприязнь к Бараташвили.

— Ну, что ты все дуешься на меня, любезный Давид! — улыбнулся Тато и подошел к стоявшему у ок-

на молодому Чавчавадзе. — Кроме вас, у меня никого нет на свете, да и очень скоро, чует мое сердце, мы расстанемся навеки. Так потерпи малость, князь, завтра сгину с глаз твоих долой!

Такая откровенность и простодушие обезоружили заносчивого Давида.

— Ну и чудак же ты, Тато, что это тебе померещилось. — И Давид с необычной для него теплотой протянул к себе Николоза...

Было десять часов вечера, когда из ворот усадьбы князя Чавчавадзе выехали всадник и всадница, направив коней в сторону освещенного ярким лунным светом Телави.

Тато залюбовался осанкой правительницы Мингрелии. Чему-чему, а искусству наездницы Давид Дадиани обучил свою жену в совершенстве. Серый в яблоках иноходец, грациозно склонив набок красивую голову, шел неторопливой плавной рысью, повинаясь каждому знаку своей повелительницы, словно и не было бегущего рядом темно-коричневого жеребца с большим белым пятном на лбу. Темно-коричневый то и дело норовил вырваться вперед и недовольно всхрапывал, когда наездник укорачивал удила, сдерживая его порыв.

Около полуночи показались огни Алаверди...

За полверсты до храма стояли крытые коврами арбы. Мужчины разжигали костры, женщины раскладывали на скатерти хлеб, сыр, зелень, расставляли глиняные чаши и кувшины. Сонно блеяли бараны, тупо уставившись на убегавшие в ночную темь языки пламени. Звучали хриплые, приглушенные голоса. Не протрезвевшему до конца Николозу почудилось, будто не мирные то были молеельщики, а дикие кочевые орды, завладевшие окрестностями Алаверди, дабы грабежами и разбоем потрясти поутру возрожденный Телави. Настороженно смотрел Тато на полыхающую бесчисленными кострами долину, позабыв на миг о своей спутнице.

Очнувшись, он спешил, взял под уздцы обоих коней и, чтоб окончательно смахнуть с себя хмельную одурь, стал пешком пробираться между арбами заночевавших здесь молеельщиков.

Несколько раз Тато тайком окидывал взглядом

Екатерину Дадзани, удивляясь неожиданной и странной перемене во всем ее облике. Величественная прavitельница каким-то чудесным образом перевоплотилась в воинственную амазонку. Бараташвили не заметил, как она сняла элегантную дорожную шляпку и распустила густые волосы, как по-мужски села на своего серого в яблоках иноходца. А когда, проходя мимо огромного костра, он взглянул в лицо Катине, его как громом поразило то, что он прочел в ее лихорадочном взоре.

— Быть может, причиной всему — вино, ночь и эти проклятые костры, — предположил Николоз Бараташвили и незаметно перекрестился. Поравнявшись с очередной озаренной огнем костра стоянкой, он вновь посмотрел на Екатерину.

— Взгляни, Тато, бога ради, что там с моим стременем, — каким-то неестественным голосом произнесла она.

Николоз вплотную подошел к серому в яблоках иноходцу и, даже не глядя на стремя, протянул всаднице обе руки. Катина соскользнула с седла прямо в объятия Тато, прижалась губами к его дрожащим губам, дурманя пряным дыханием молбдой женщины и ароматом вырвавшейся на волю копны непокорных волос. Все крепче и крепче прижималась к Николозу Катерина, вороша своими длинными пальцами каштановые пряди его волос, ниспадавших на по-юношески высокую шею.

Потом бок о бок, нетвердыми шагами пошли они в сторону храма, поминутно останавливаясь, чтобы испуганными поцелуями отомстить судьбе, реальности, всему тому, что воздвигло между ними непреодолимую преграду.

Когда молодые люди подошли вплотную к Алаверди, Николозу показалось, что каменная ограда храма объята огнем. Это светились на ней миллионы горящих свечей. На мгновение фантастическое зрелище приковало к себе внимание Бараташвили.

«Вот так пылали веками наши дворцы и храмы, — думал он, — и все же не удалось врагам обратить нас в прах и пепел. Хорошо ли, худо ли, но мы существуем,

думаем, творим, боремся, и впереди — неведомое, туманное завтра, во многом зависящее от нас самих...»

Потом они с трудом пробрались в до отказа наполненный храм, мягко освещенный золотистым светом бесчисленных свечей. Приехавший на храмовый праздник католикос и алавердский епископ заканчивали торжественный молебен.

Тато и Катина протиснулись к алтарю и опустились на колени.

— Вот и повенчались мы с тобой тайно, Тато, — с каким-то непривычным для нее озорством шепнула на ухо Николозу Катина. — Смотри, не женись, прогневаешь бога двоеженством.

Католикос и алавердский епископ не сразу признали в молодой женщине правительницу Мингрелии, дочь Александра Чавчавадзе, а узнав, поразились ее внешнему виду и не меньше ее спутнику — незнакомому молодому человеку в белой черкеске, по всему видно, весьма и весьма близкому к светлейшей.

— Попы узнали тебя, — тихо сказал Тато.

— Это пугает тебя, дорогой?

— Я беспокоюсь за честь мингрельской царицы, — улыбнулся Тато.

— Ты что, побаиваешься моего первого мужа?

— Еще бы! Он подстрелит меня как цыпленка или, того хуже, напустит на меня свору своих гончих, которые разорвут меня на части.

— Эх, Тато, знала бы, что ты такой трус, не обвенчалась бы с тобой!

— Теперь уже поздно, царица, мы уже муж и жена перед господом богом. Нам пора...

— А почему бы господу богу не сотворить чудо и не сделать так, чтобы я и вправду могла стать твоею женой?

— Бог, дорогая Катина, помогает лишь тем, кто борется за свое счастье. Он не любит слабых и покорных.

— Ты все-таки злой, Тато, злой и желчный.

— Вот и наша первая семейная ссора! Все идет по заведенному веками порядку.

— Сколько бы дали эти попы, как ты их называешь, за то, чтобы услышать, о чем мы говорим!

— Бог с ними. Свадебное пиршество ждет нас, княгиня Бараташвили, нам пора.

— Как ты сказал? Повтори, пожалуйста!

— Нам пора, княгиня Бараташвили.

— Еще раз.

— Вы безжалостны, княгиня Бараташвили.

— И в последний раз.

— Я люблю вас, княгиня Бараташвили.

— Ты первый раз сказал, что любишь меня, Тато!

— О, это придирка, моя царица, я это говорил вам тысячу раз, а впервые — когда нас еще не было на свете.

— Я люблю тебя, Тато! Одного тебя!

...Молодых людей пригласили к своей стоянке тушины. Растроганный Бараташвили расцеловал четверых братьев-богатырей и, преклонив колено, принял хлеб-соль у худенькой девушки-подростка, от которой на счастливого князя пахнуло ароматом овчины, скошенного сена и полевых цветов.

Четыре пиалы тушинской водки осушил Тато, не смотря на предупреждающие жесты Катины, и вновь захмелел.

Девушка-подросток взяла в руки гармонику и, лукаво, в упор глядя на красавца в белой черкеске, запела:

Не уходи хороший гость,

Не повторяй — уйду, уйду.

Впервые в жизни удушливая волна беспричинной ревности захлестнула сердце Катины.

— Идем, Тато, — шепнула она ему на ухо.

Позади остались полыхающие костры Алаверди... В небольшой буковой роще на берегу Алазани Николоз и Екатерина спешились...

Серый в яблоках иноходец и темно-коричневый жеребец с большим белым пятном на лбу застыли рядом, словно вслушивались в глухие звуки замершего леса и тихий плеск набегавших алазанских вод.

Опавшие листья оголили молодые, упругие деревца, блестящие в ярком свете достигшего зенита полумесяца.

В Тифлисе Бараташвили ждала радостная весть. Леван Меликишвили — добрый, милый друг Леван, только-только назначенный уездным начальником в Нахичевани, — выпросил у сварливого Нейдгардта для Николоза место своего помощника.

НАХИЧЕВАНЬ

Тато признался себе — он чуть-чуть влюбился в эту хрупкую Гонча-Бегум, которая трогательно коверкала русский язык, хотя всегда точно и чрезвычайно выразительно высказывала свою мысль. Бараташвили доставляло огромное удовольствие читать этой девочке наизусть из Пушкина и Лермонтова. Гонча-Бегум могла часами слушать своего нового друга, так не походившего на всех остальных людей, с которыми ей приходилось встречаться за свою короткую жизнь. Она часто просила молодого князя прочесть грузинские стихи, и Тато увлеченно декламировал свои посвящения Катине. Бегум грустно вслушивалась в незнакомую речь, глядя на поэта своими огромными удивленными глазами. Бегло, белым русским стихом переводил ей Бараташвили свои стихи, удивляясь тому, как хорошо звучат они на языке, на котором бывший столоначальник исписал несколько томов всякого рода докладных и реляций.

— Князь очень любил эту ханум с серьгой? — спросила Бегум и, как бы извиняясь, слегка прикоснулась своими тонкими пальцами к руке Николоза.

— Да, Бегум я очень люблю эту женщину.

— И ханум тоже любит князя?

— Как тебе сказать, Бегум, она вышла замуж за царя, царица она теперь, Бегум.

— Она была царицей, — после долгой паузы говорит Гонча-Бегум и вместо того, чтобы разъяснить свою мысль, осторожно берет в свои тонкие пальцы руку Николоза и бережно целует ее.

Тогда-то и призналась восемнадцатилетняя Гонча-Бегум, что и она пишет стихи, но еще никому не читала их. Понимавший азербайджанский язык Тато долго умолял смущавшуюся девочку прочесть ему что-нибудь.

...Они сидели в саду перед резиденцией уездного начальника. На Бегум было простенькое пестрое платье, в волосах — голубой цветок.

— Я должна уйти от мужа, — говорит ханская дочь, — мусульманка не имеет на это права, но я не могу жить с ним, князь. Я спою тебе о моем горе, князь, а ты послушай и пожалей Бегум.

Сад мой, прекрасный сад,
Я так хочу прийти,
Чтоб приласкать лепестки твоих цветов,
Поговорить с твоими родниками,
Но боюсь, что встречу там мужа.

«...А может, схватить эту чудо-Бегум, посадить на коня и умчаться куда глаза глядят?» — думал Тато, утраченной утирая слезы восторга и нежности.

— Почему плачет князь? Ему жалко Бегум или песня моя такая грустная?

— Нет, Бегум, я плачу от радости, что ты живешь на свете, чудо-Бегум.

— Ханум с серьгой очень красивая, князь?

— Ты очень красивая, Бегум, я никогда не видел женщины красивее тебя.

— Князь говорит правду или хочет, чтоб мне было хорошо?

— Я говорю правду, Бегум, я очень полюбил тебя и очень хочу, чтоб тебе было хорошо.

— Почему аллах не послал мне тебя в мужья, князь, ты был бы самым счастливым мужем на всем свете, так я любила бы тебя.

— Помолись за меня, Бегум, у меня предчувствие, что я скоро умру.

— Моя любовь уберезет тебя, князь, мне не надо молиться за тебя. Все, что я говорю и думаю, это и есть моя молитва о тебе.

Мои нечаянные умолчания

В молитвы мне по благости зачти, —

вспомнил свои стихи пораженный Тато и почти со страхом посмотрел на хрупкую Бегум, которая в точности повторила осенившую его некогда поэтическую мысль.

Поздно вечером Бараташвили в своем обычном шутовском тоне писал Маико о Гонча-Бегум, зная, что проницательная сестра легко сможет прочесть между строк повесть о новом увлечении брата.

Он закончил письмо и задумался. Оставаться один на один с самим собой ему было неприятно. Внутренние диалоги утомляли его, бередили душу, неизменно подталкивали к бездне неразрешимых вопросов. Шесть лет прошло со дня венчания Катины, а боль, нанесенная ею, не проходит. И видно, не пройдет никогда. Что ж, придется жить с этой зияющей, кровоточащей раной все оставшиеся дни...

Тато обрадовался вошедшему Левану, который тут же схватил со стола незапечатанное письмо и принялся читать его.

— Очередная исповедь моей невесте? Неплохо, брат, — Леван быстро приписал что-то на полях второго и третьего листков письма и протянул их Николозу.

«Господин начальник шлет вам привет», — прочел Тато на втором листке, а на третьем: «Тато круглые сутки умоляет меня, чтоб я развел их, но я, как солидный человек, воздерживаюсь».

— Ну вот, теперь весь Тифлис заговорит обо мне, как о похитителе чужих жен. Этого мне только не хватало! Счастливый ты человек, Леван, богом ниспослана тебе моя двоюродная сестра. Маико — союз ума и красоты, сплав доброты и обаяния. Только мне теперь придется оправдываться перед ней в грехе несовершенном! (Так и не узнает Тато никогда, что отвергнутая Леваном Маико от горя заболит чахоткой и уйдет из жизни вскоре после того, как в пыльной Гяндже перестанет биться сердце поэта).

Проводив Левана до дому, Тато долго бродил по пустынной Нахичевани. Чем не трагический роман — жизнь этой крохотной Гонча-Бегум?

Прекрасный осколок владетельных ханов Кенгерлу, которые после Туркманчайского мира превратились в жалких вассалов-наибов, внучка грозного Эксан-хана... В двенадцатилетнем возрасте выдали ее замуж за штабс-капитана Никиту Орлова. Почему провидение так неловко распорядилось судьбой этой чудесной девочки? И она по-своему взбунтовалась

против мачехи-судьбы — убежала в дом своей бабушки. Но что из этого? В конце концов ее вынудят возвратиться к мужу, и зачахнет этот полевой цветок, так и не раскрыв лепестки своей талантливой души.

А Катина? До Тато доходили слухи о полной отчужденности четы Дадиани. Не то что жене, своему крошечному царству не уделяял никакого внимания Давид, полностью отдаваясь одной-единственной страсти — охоте.

Тато вспомнил первую после замужества Катинь встречу с нею в Тифлисе, в доме Александра Гарсевановича. Бараташвили долго готовил себя к этой встрече. Он часами засиживался в экспедиции на удивление своим коллегам, которые уважали, а еще больше побаивались вспыльчивого князя, при всем усердии, казалось, совсем не дорожившего карьерой. Николоз не знал, как вести себя с любимой женщиной. Прикинуться равнодушным? Но такое притворство, он знал, ему не под силу. Скрыть свои чувства за нарочитой почтительностью к венценосной особе? Но это превратится в недостойное фиглярство с его стороны. Так и не придумал ничего путного отвергнутый столоначальник, не подобрал душевной брони для этой тяжелой встречи.

Александр горячо обнял смертельно бледного Тато, расцеловал его трижды с легким сердцем — канцелярист никогда не будет его зятем, а талантливому поэту Бараташвили поэт Александр Чавчавадзе всегда рад. Николоз безошибочно угадал причину этой неожиданной перемены в отце Катинь. От прежней настороженности не осталось и следа. В конце концов, пусть довольствуется дружбой с царицей Мингрелии, дочерью прославленного генерала Чавчавадзе, первого поэта Грузии, своего учителя, вместе с Григолом благословившего его на поприще грузинской словесности. Так, вероятно, думал Александр Гарсеванович.

Но когда вошла Катина, Николоз понял, что ему и не надо было готовиться к этой встрече. Жена правителя Мингрелии, дочь генерала Чавчавадзе — Екатерина Дадиани спокойно подошла к своему поэту. Не

дав поцеловать руки, притянула к себе милую голову, примяла пальцами каштановые пряди и несколько раз поцеловала его повлажневшие темно-карие чуть прищипанные косые глаза. Потом под руку вывела его, задыхавшегося, на открытую веранду и усадила в плетеное кресло. Сама села напротив и сказала просто:

— Я так рада тебе, Тато, прости меня, если можешь. Если я и причинила кому-нибудь горе, то прежде всего самой себе. Ты не можешь не чувствовать этого. Никто не имеет никаких прав на нашу любовь, Тато, на нашу дружбу, на наше детство, — ни отец, ни свет, никто. Прости и пожалей свою Катину.

Тато с невыразимым восторгом смотрел на Екатерину. Даже если она до мелочей продумала эту первую, самую трудную минуту, все равно это было прекрасно. Краска вновь прилила к лицу Бараташвили. Ему стало легко. Он рассказал Катине о своей жизни, о новых своих стихах, о поэтических замыслах.

— Прочти мне, что ты написал после... — Екатерина запнулась, не желая упоминать о своем замужестве.

— Я перепису все свои стихи и преподнесу их тебе, как Руставели преподнес свою поэму Тамар. Ну чем я не поэт, а ты не царица? А теперь послушай, что я написал «после»:

Нет, мне совсем не жаль сирот без дома.

Им что? Им в мир открыты все пути.

Но кто осиротел душой, такому

Взаправду душу не с кем отвести.

Кто овдовел, несчастен не навеки,

Он сыщет в мире новое родство.

Но, разочаровавшись в человеке,

Не ждем мы в жизни больше ничего.

Кто был в своем доверии обманут,

Тот навсегда во всем разворожен,

Как снова уверять его ни станут,

Уж ни во что не верит больше он.

Он одинок уже непоправимо.

Не только люди — радости земли

Его обходят осторожно мимо,
И прочь бегут, и держатся вдали.



Екатерина молчала. В распахнутых дверях веранды стоял Александр. Николоз увидел его и чуть громче, чем он читал Катине, начал:

Я храм нашел в песках. Среди тьмы
Лампада вечная мерцала,
Неслись Давидовы псалмы,
И били ангелы в кимвалы.

Там отрясал я прах от ног
И отдыхал душой разбитой.
Лампады кроткий огонек
Бросал дрожащий свет на плиты.

Жрецом и жертвой был я сам.
В том тихом храме среди пустыни
Курил я в сердце фимиам
Любви — единственной святыне.

И что же — в несколько минут
Исчезли зданье и ступени,
Как будто мой святой приют
Был сном или обманом зренья.

Где основанье, где престол,
Где кровельных обломков куча?
Он целым под землю ушел,
Житейской пошлостью наскуча.

Не возведет на этот раз
Моя любовь другого крова,
Где прах бы я от ног отряс
И тихо помолился снова.

«Счастливая любовь не исторгает таких шедевров, — подумал Александр Гарсеванович, обнимая Николоза. — Откуда такая исполинская духовная мощь у этого тщедушного хромого Бараташвили?»

Дэви Стуруа. Судьба.

За обеденным столом сидели вчетвером — Екатерина,
рина, Нина, Александр и Тато.

Николоз поднял тост за Грибоедова. Говорил он
как о великом поэте России.

— Ему не могли простить «Горя от ума», как не
прощали Пушкину его ненависти к самодержавию. Вы,
Нина, семнадцатилетней девочкой первая оценили его
по достоинству. Сочиненная вами надпись на склепе
Александра Сергеевича стоит целого исследования.

Тато до сих пор помнит, с какой благодарностью
смотрела на него вдова Грибоедова — предмет без-
надежной любви дяди Григола.

«Все мы как бы связаны единой нитью, прикова-
ны друг к другу незримыми цепями, которые ничто не
в силах разорвать — ни измена, ни даже смерть», —
думал тогда Николоз.

...Очнувшись, Бараташвили увидел, что находится
на окраине поселка. «Вот так размечтаюсь однажды
и провалюсь ненароком куда-нибудь в пропасть, —
подумал Николоз, — а впрочем, вся жизнь наша —
стремительное скольжение в бездну...»

Приблизившись к своему дому, Тато заметил ка-
кую-то тень у крыльца. Неужели это сумасбродка Бе-
гум? И через минуту он прижимал к сердцу дрожащую
девочку, целовал ее огромные, влажные глаза, гладил
густые, дивно пахнувшие волосы.

— Ты сошла с ума, Бегум, ступай сейчас же до-
мой, я провожу тебя.

— Бабушка ничего не знает, я вышла в сад с чер-
ного хода. Не гони меня, князь, я кое-что должна ска-
зать тебе, войдем в дом.

Тато знал, что если они войдут в дом... Колдунья
что ли, эта Гонча-Бегум?

— Нет, Бегум, скажи, что тебя привело ко мне в
такой час, а потом — домой.

— О, как плохо говорит князь с несчастной Бе-
гум. Я думала, что ты один на всем свете понимаешь
и жалеешь меня.

— Именно потому, что понимаю и жалею тебя, и
велю идти домой, — напускал на себя холодность и
строгость двадцатилетний помощник уездного
начальника.

— Если ты не вступишь меня в дом, я удавлюсь этой же ночью, клянусь аллахом!

...Под утро пьяная от счастья Бегум выскользнула из дома Николоза, оставив его наедине со смешанным чувством радости, сожаления, досады и еще чего-то необъяснимого, в чем он не мог разобраться.

Иступленно ласкала Бегум князя, осыпая его глаза, руки и грудь бесчисленными поцелуями, плача и смеясь одновременно, а когда наконец притихла, взяла в свои тонкие пальцы левую руку друга и всмотрелась в нее.

— Что, Бегум, недолго осталось мне жить?

— У тебя не будет жены, князь.

— Я скоро умру, Бегум?

— Три любви я вижу на твоей ладони, князь.

— Не хитри, девочка, скажи, сколько мне осталось бродить по белу свету?

Бегум крепко прижалась к Николозу, дурманя его пьянящим ароматом своего нежного тела.

— Я говорила тебе, что любовь моя уберезет тебя от всех бед, только ты должен помнить и немного любить бедную Бегум. Русскими буквами я переписала все стихи, которые посвятила нашей любви. Переведи их на грузинский язык, как обещал, князь, и тогда Гонча-Бегум Кенгерлу будет неразлучна с тобой и после нашей смерти...

Через три дня уездный начальник Нахичевани Леван Меликов и его помощник Николай Баратов вызвали в свою резиденцию штабс-капитана Орлова, сделали ему соответствующее внушение, после чего вывели к нему беглянку-жену в сопровождении бабушки.

Тато получил письмо от двоюродной сестры. Маико так живо и образно описала его роман с Гонча-Бегум, словно была незримой свидетельницей их встреч.

«Мои откровения и приписка Левана — виной всему», — думал Николоз, садясь за стол, чтобы написать сестре ответ.

«Любимая сестра, Маико! Я очень сожалею, что ты превратно истолковала наши поступки — я ведь помирил наконец мужа и жену», — писал Тато в Тифлис.

«Вот и закрылась еще одна страница моей несо-

стоявшейся любви», — думал Бараташвили, вспоминая иступленные ласки ханской дочери, ее огромные влажные глаза, благоухающие волосы и счастливые прерывистый шепот. «Три любви я вижу на твоей ладони, князь», — вспомнил он слова Бегум.

—Что ж, святую правду сказала хрупкая Бегум. Родина, поэзия и Катина — вот троица любви моей. Только взаимности лишена любовь к этим трем божествам. Родина не видит и не слышит меня, поэзия, самая капризная из всех возлюбленных, часто оставляет меня на полдороге, на последнем выступе под вершиной. А где ты, Екатерина? Как далеко ты от пасмурной Нахичевани!

* * *

Из докладной записки Николоза Бараташвили на имя грузино-имеретинского гражданского губернатора генерал-майора Сотникова:

«Господину главноуправляющему Закавказским краем, генерал-адъютанту Нейдгардту угодно было в последних числах ноября 1844 года прикомандировать меня к состоявшему при нем капитану князю Меликову, назначенному для управления Нахичеванским уездом; а вслед за тем его высокопревосходительство чрез бывшего начальника гражданского управления 12 декабря за № 11086-м предложил губернскому правлению помощника нахичеванского уездного начальника поручика Мелешка перевести в другой уезд, а меня допустить к исправлению его должности.

Но губернское правление, оставив предложение это без исполнения до последних чисел марта нынешнего года, наконец сделало следующее распоряжение: поручика Мелешка перевело в Гурийский уезд, а меня возвратило на прежнее место моего служения совершенно против моего желанья. Между тем, состоя при управляющем Нахичеванским уездом в течение четырех месяцев, я исполнял все поручения его не только по производству следствий, собственно ему порученных, но и по другим предметам, относящимся до обязанности помощника уездного начальника.

Приспособив себя к этой должности и уверившись, что на этом новом поприще службы я могу быть более полезным службе и мои способности и усердие будут

виднее перед начальством, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше превосходительство не оставить при открытии вакансии в одном из уездов вверенной Вашему превосходительству губернии сделать распоряжение о назначении меня помощником уездного начальника и тем не лишить меня безвинно права занять место, к которому я был удостоен и высшим начальством.

Губернский секретарь князь Николай Баратов.

10 мая 1845 г.»

Сотников в тот же день запросил у графа Дунина характеристику на князя Бараташвили и на следующий день, 11 мая 1845 года, получил от него следующее донесение:

«Согласно с требованием Вашего превосходительства от 10-го мая за № 2928 имею честь представить формулярный список о службе столоначальника Палаты губернского секретаря князя Баратова и доложить, что на увольнение его из Палаты препятствия никакого нет. При этом случае долгом считаю свидетельствовать пред Вашим превосходительством, что чиновник сей отличными способностями, примерным усердием по службе и благородным поведением обращал на себя всегда особенное внимание начальства.

Председатель Палаты граф К. Дунин».

Г Я Н Д Ж А

На сборы Николоз выпросил у губернатора неделю. После унылой Нахичевани Тифлис показался ему оживленным и праздничным. Весело ковылял Тато от одного друга к другому, дурачился, как в полные надежд дни недавней юности, проводил ночи в Ортачальских садах, сидя в обнимку с немного постаревшим Сатарой, вслушиваясь в его погрустневшие напевы.

От Григола по-прежнему не было никаких вестей. Тато отгонял от себя обиду на любимого дядю. Упрекая правителя Аварии, Тато продолжал почитать поэта Орбелиани, своего первого учителя и наставника в тяжелом поэтическом ремесле.

После того, как рухнула последняя надежда по-

пасть в дивизию Ренненкамппа, которая стояла в укрепленном Григолом Дагестане, назначение в Телави помощником уездного начальника казалось доведенному до полного отчаяния Николосу свалившейся с неба невероятной удачей. Он обязательно поставит на ноги семью, расплатится со всеми долгами, в том числе и с карточным долгом в 200 рублей. Этот неблагодарный Орлов, которому Тато лично вернул прекрасную беглянку Бегум, не нашел ничего лучшего, как обыграть его в карты. Но не это было самым главным. Телави имел для него иной, сокровенный смысл. Оттуда рукой подать до Цинандали — этой сказочной обители, где он гулял с Катинной, задыхаясь от счастья и нахлынувших образов. Говорят, царица Мингрелии каждое лето посещает Цинандали.

Наступило долгожданное утро отъезда. Тройка ждала на улице, возле дома. Весело гудели колокола Анчисхати. Николоз расцеловал с трудом приподнявшегося с кресла Мелитона Николаевича, приласкал сестер и, плача, припал к руке побледневшей матери.

— Сынок мой, радость моя, да хранит тебя бог.

— Один бог у меня, мама, это ты.

— Береги себя, сынок, жизнь моя.

— Дядя Мамука идет! — закричала маленькая Софья, которая примостилась на подоконнике, чтобы видеть, как уедет брат.

Тато обнял вошедшего Орбелиани и по выражению его лица понял — что-то случилось.

— Я думал, что ты уже отправился в Елисаветполь, Мамука.

— Мы поедem туда вместе, Тато! Вчера меня пригласил наместник и сообщил, что из Гянджи отозван мой помощник князь Андроникашвили, схвативший желтую лихорадку. Его и посылают в Телави. На освободившееся место он рекомендовал тебя, отозвавшись лестно о твоей службе в Нахичевани. Он особо подчеркнул твой такт и знание тамошнего языка. Приказ о твоём назначении у меня в руках. Мой экипаж готов, и мы можем тотчас отправиться в путь.

Пораженный Тато присел к столу и задумался. Вместо Телави Елисаветполь? Бедный Андроникашвили заболел желтой лихорадкой, а теперь настал мой черед? Чья рука тут постаралась? То-то до конца не ве-

рилось мне в счастье вновь побывать в Цинандали, все время боялся, что в самый последний миг что-то изменится. Недаром отец все время твердит мне: не простят тебе непокорности и вольнодумства. Что меня ожидает в Гяндже? Неужели это тот самый роковой путь, о котором шептала мне Гонча-Бегум? Отказаться? А что будет с отцом, мамой, всей семьей? Идти к наместнику? Но он уже подписал приказ. Почему никто не соизволил поговорить с Николозом? Ведь когда решался вопрос о поездке в Телави, наместник уделил ему целый час, наставлял, как вести себя в Кахетии, где в прошлом имел место ряд выступлений против режима. Значит, наместник передумал или получил такое указание уже после беседы с ним. От кого?

— Что посоветуешь, Мамука, идти к наместнику или нет?

— Я бы не стал делать этого, Тато.

По тому, как это было сказано, Николоз понял, что Мамука знает больше об истинной причине его нового назначения.

— На твоём месте я бы написал несколько слов наместнику или губернатору о том, что ты считаешь свое новое назначение великой честью и большим доверием.

— Тебе сказали, чтоб ты уговорил меня сочинить подобное послание?

— Я этого не говорил, Тато.

— Что ж, Мамука, раз мне самому предстоит подписать свой смертный приговор, изволь, я готов и на это. Как странно, даже когда тройка подошла к моему дому, я знал, что мне не суждено ехать в Телави.

— К чему отчаиваться, Тато, ведь Мелитон Николаевич служил в Елисаветполе и вернулся оттуда целым и невредимым.

— От судьбы никому не уйти, дорогой. Так тому и быть, поедem в твою милую Гянджу.

Тато присел к столу и быстро набросал:

«Его превосходительству господину грузино-имеретинскому гражданскому губернатору, генерал-майору и кавалеру Василию Семеновичу Сотникову,

Р а п о р т

На приглашение меня Елисаветпольским уездным начальником занять место помощника его по случаю увольнения из этой должности коллежского секретаря князя Андроникова я совершенно согласен, надеясь и в этой новой обязанности по службе оправдать внимание начальства.

Донеся об этом Вашему превосходительству, я имею честь покорнейше просить начальнического распоряжения о перемещении меня в должность помощника Елисаветпольского уездного начальника.

Губернский секретарь князь Баратов».

— Ты будешь совершенно самостоятельно управлять уездом. Мне придется вскоре выехать в Ахалцих на несколько месяцев с особым поручением.

— Только одна просьба, Мамука. Выедем дня через три-четыре, мне нужно сделать кое-какие дополнительные приготовления, повидать кое-кого.

— Мы должны выехать сегодня же, — твердо сказал Мамука.

Перед тем, как выйти из дому (Мамука уже забрался в экипаж), Николоз прошел в маленькую комнату, где лежала его больная воспитательница Майя. Тато опустился на колени перед ее изголовьем, прижался лбом к натруженной ладони горийской крестьянки.

— Прощай, моя родная. Да пошлет тебе господь бог скорое выздоровление.

Ничего не ответила своему воспитаннику суровая Майя, перекрестила его, попрощалась легким кивком головы и закрыла глаза.

Тато вышел из комнаты совершенно больным. Он направился к экипажу.

— Заедем в канцелярию губернатора, а затем — в путь, — тихо сказал Мамука Орбелиани.

* * *

Городничий, капитан Трирогов, сразу возненавидел исполняющего обязанности уездного начальника.

Когда при первой же встрече он без обиняков сообщил князю Баратову, какие льготы лично для себя может тот извлечь из своего высокого положения, Та-то резко оборвал его:

— Будем считать, капитан, что вы неудачно пошутили, но если вы и впредь позволите себе что-либо в этом роде, я подам на вас рапорт в канцелярию губернатора.

После этого Трирогов, решив не связываться со своенравным мальчишкой («Ничего, — думал городничий, — поживешь, осмотришься, будешь брать похлеще прежних»), несколько раз приглашал его к себе домой на чай, но всякий раз молодой князь находил повод не пойти. Когда эти приглашения приобрели слишком назойливый характер, помощник уездного начальника пригласил к себе Трирогова и сказал ему, отчеканивая каждое слово:

— Капитан, я считаю Вас взяточником, хамом и проходимцем. Между нами не может быть никаких личных взаимоотношений. Бога ради, не делайте вид, что возмущены и собираетесь вызвать меня на дуэль. Вы — трус и карьерист и не посмеете сделать это. Как только я пожелаю, у меня будет более чем достаточно материала, чтобы привлечь вас к суду. На вашем месте я бы присмотрел себе другую работу.

Красный как рак, Трирогов вышел от помощника уездного начальника с твердым намерением отомстить ему, любым способом скомпрометировать перед губернским начальством. Впрочем, в скором времени потерявший покой городничий убедился в том, что князь Баратов — крепкий орешек. Буквально через месяц после того, как он принял дела, вся Гянджа заговорила о его бескорыстии и душевности. Исполняющий обязанности уездного начальника, несмотря на слабое здоровье и хромоту, поспевал всюду. Верхом объездил весь уезд, сразу же приструнил сельских старост, кое-кого прогнал с насиженных мест. От подношений отучил всех быстро и решительно, кого словом, а иного и нагайкой. Любовь простых гянджинцев к этому странному начальнику была столь же сильна, сколь велика была ненависть корыстолюбцев

и взяточников. Вздумал было Трирогов подбить некоторых своих собутыльников выступить против него, но охотников связываться с неподкупным и ^{УМНОМ} Баратовым так и не нашлось. Дело обернулось иным, плачевным для городничего образом.

Как-то раз заместитель уездного начальника пригласил через секретаря в канцелярию Трирогова и показал ему коллективную жалобу арестантов, которые в своем прошении обвиняли городничего в систематическом присвоении сумм, выделяемых для питания осужденных. Городничий и начальник уездной тюрьмы давно занимались этим грязным промыслом, но им все сходило с рук. Слава богу, прежний уездный начальник мало интересовался делом, а больше — охотой и кутежами. Конечно, кто-то надоумил этих подлецов написать жалобу.

— Клевета, князь, чистейшая клевета, ваше сиятельство, — неуверенно оправдывался Трирогов. — Неужели вы поверите этим мерзавцам? Ваше сиятельство, молю вас, не срамите меня на всю округу.

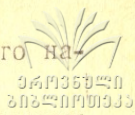
Но заместитель уездного начальника дал делу ход, и над Трироговым нависла угроза снятия с поста городничего и передачи дела в суд.

Вечером, когда князь вернулся из канцелярии в свою квартиру и собирался прилечь, чтобы избавиться от озноба — первого признака желтой лихорадки, неожиданно к нему ввалился здешний мулла, который сообщил, что, напившись до бесчувствия, городничий всполошил всю Гянджу, избивал на улице прохожих, оскорблял женщин-мусульманок грязными словами, а в заключение ворвался в городскую мечеть, осквернил мусульманские святыни и заперся в одной из келий мечети.

— У мечети собрался народ, мусульмане требуют его смерти, я не в силах предотвратить самосуд.

Через полчаса Николоз был у мечети. Увидев его,

народ расступился, пропустив помощника уездного начальника к входу в мечеть.



— Слушай меня, народ, — на азербайджанском языке обратился к гянджинцам Бараташвили. — Тот, кто тяжко оскорбил вас и вашу веру, понесет суровую кару, вы знаете меня, но самосуда я не допущу! Возвращайтесь домой. Вечером на этом же месте я сообщу вам о решении уездного начальства.

Толпа поредела, хотя многие из мужчин остались у мечети, желая посмотреть, как справится Бараташвили с озверевшим городничим.

Николоз подошел к келье, в которой забаррикадировался Трирогов, и сказал спокойно:

— Это я, Баратов. Откройте дверь, капитан, я хочу поговорить с вами.

— Убирайтесь ко всем чертям, пока я не влепил вам пулю в лоб.

— Трирогов, образумьтесь. Если вы немедленно не сдадитесь мне, толпа растерзает вас.

Эти слова возымели действие. Городничий отодвинул засов и отступил к стене, наведя пистолет на вошедшего в келью Бараташвили.

— Отдайте оружие и следуйте за мной, — Николоз вплотную подошел к дрожавшему, как осиновый лист, Трирогову.

Городничий бросил пистолет на пол, уткнулся лицом в ладони и зарыдал.

— Вы, капитан, никогда не задумывались над тем, кого вы представляете здесь? Я не имею в виду власть. Вы представляете здесь великую Россию, которой доверились исстрадавшиеся народы нашего несчастного края.

Трирогова поместили в ту же самую тюрьму, обитателей которой в течение многих лет безнаказанно

обирали городничий. Николоз послал губернскому начальству и в канцелярию наместника рапорт с подробным изложением всех безобразий, творимых этими жимордой.

По-своему отреагировали власти на меры, принятые помощником уездного начальника против зарвавшегося городничего. Наместник велел объявить выговор князю Баратову за то, что он не сумел предотвратить учиненный Трироговым дебош, городничий же отзывался для проведения следствия в Тифлис. Но эта бумага — «образец колониальной справедливости» — так и не дошла до Гянджи при жизни Николоза Бараташвили...

* * *

Под вечер в канцелярию пришла депеша Воронцова, в которой сообщалось, что 12 августа сего года елисаветпольскому уездному начальнику надлежит встретить у Сломанного моста¹ принца Александра Гессенского, младшего брата императрицы, и проводить его до границы Ирана. Принц по совету Николая Павловича принимал участие в одной из военных экспедиций против Шамиля, получил там расстройство нервов и целый месяц приходил в себя на минеральных водах, а затем через Тифлис направлялся в Персию.

Тато обрадовался возможности вырваться из гянджинского пекла. 10 августа он уже был в Дилижане и отдыхал на балконе дома начальника отдела ведомства военно-инженерных дорог Сенковского, женатого на дальней родственнице Николоза — Тамаре Яковлевне Орбелиани.

¹ Ныне Красный мост — на границе Грузинской ССР и Азербайджанской ССР.

Николоза сопровождал новый городничий Елисаветполя подполковник Севарсамидзе, сорокалетний мужчина богатырского сложения, исключительно новешенный и невозмутимый. Между ними сразу установились теплые, дружеские отношения. В отличие от Трирогова обремененный многочисленным семейством Севарсамидзе оказался на редкость честным и бескорыстным человеком. Свои обязанности он выполнял добросовестно, с пониманием относился к местному населению, хотя и не давал спуска не признававшим новых законов и часто обходившим их гянджинцам, которые побаивались этого богатыря с тяжелым взглядом и еще более тяжелой рукой.

Севарсамидзе привязался к помощнику уездного начальника, хотя и считал, что он не лишен странностей и обладает неуравновешенным характером. Во время ежедневных докладов о происшествиях в уездном центре молодой князь Бараташвили порой как бы отключался от внешнего мира, смотрел на подполковника невидящими глазами, а затем, улыбаясь чистой, детской улыбкой, просил Севарсамидзе повторить доклад или отложить его на следующий день. А однажды во время охоты на перепелов Севарсамидзе потерял из виду помощника уездного начальника и нашел его лишь к концу дня у реки Мурут. Бараташвили сидел на берегу, прислонившись к дереву, и глядел на мутную воду отрешенным взглядом. Семья Севарсамидзе обожала Николоза, особенно младшая дочь подполковника, семилетняя Ната, которой Тато давал разные смешные прозвища и брал с собой на верховые прогулки к несказанной радости девочки. Севарсамидзе и его жену поражала та совершенно особая нежность, с которой своенравный и вспыльчивый князь относился к детям, неизменно к нему тянувшимся.

В Дилижане было прохладно. Дом Сенковского

стоял у самого леса, и Тато наслаждался живописным пейзажем, поминутно теребя тяжелого на подъем Севарсамидзе, заставляя его пить кахетинское и восторгаться красотами природы.

— Выпьем за здоровье принца, подполковник, — предложил Тато. — Самое лучшее, что он сделал в своей жизни, это, конечно, то, что вытащил нас из Гянджи. Давайте предложим ему вместо Ирана Дилижан. Вина хватит у тебя, Тамрико? С ним, наверняка, будет и Воронцов, мой давнишний и хороший знакомый, самый продувной из всех наместников и главноуправляющих. Угостим их на славу, подполковник. Вы видели когда-нибудь вельможных особ в нетрезвом состоянии?

Сенковский и Севарсамидзе вежливо улыбались крамольным шуткам Бараташвили, а Тамара, изнывавшая в Дилижане от скуки, хохотала до упаду. (Позднее, 23 августа, Тато напишет Маико, что Тамара «ослабела разумом — все время смеется».)

Ранним утром, 12 августа, Николоз и Севарсамидзе были уже у Сломанного моста.

«Отсюда рукой подать до Тифлиса, — подумал вдруг погрустневший Тато. — Как они там, мать, больной отец, сестры, друзья?»

— По моим подсчетам, они должны появиться к вечеру, подполковник, — сказал Тато, заметив, что Севарсамидзе внутренне готовится к встрече с сановным гостем. — Единственное, чему научились русские сановники у нас, грузин, это принимать по-нашему гостей, а слово «тамада» становится в той же степени русским, каким оно было до сих пор грузинским. Не думаю, чтобы Воронцов выпустил принца до обеда, так что расслабьтесь, подполковник. Торчать нам здесь еще долго. Переночуем с принцем в Казахе — туда я послал нарочного. А ранним утром двинемся дальше.

До шести часов вечера просидели Бараташвили

и Севарсамидзе в духане неподалеку от моста, а затем верхом переехали через мост и стали ждать высокого гостя.

Лишь к девяти часам вечера вместо торжественной кавалькады появился офицер охраны Воронцова — капитан Синельников. Он сообщил, что принц на неопределенное время отложил свою поездку в Иран и помощник уездного начальника может возвратиться в Елисаветполь.

— Вот что, подполковник, — сказал Тато Севарсамидзе, когда гонец повернул коня в сторону Тифлиса, — давайте вернемся в Дилижан и отдохнем там денечка два в счет тех, которые нам пришлось бы потратить на доставку принца к иранской границе. Устроим себе эти маленькие каникулы. Авось власть не рухнет в Гяндже за эти двое суток.

Подполковник согласился.

Сенковские крайне удивились, когда поздно ночью Тато и Севарсамидзе вновь ввели своих коней в их двор.

— Тамрико, немедленно накрывай на стол, тащи все, что есть, — огорошил хозяйку Николоз. — Через час-полтора принц будет здесь. Мы оторвались от них, чтоб обеспечить ужин. Принц передумал ехать в Иран и держит свой путь в Эривань.

Несмотря на страшную усталость, почти до утра просидели за столом гости и хозяева. Развеселившийся Тато строил разные предположения насчет того, почему принц отложил свою поездку в Иран. В конце концов сошлись на том, что Александр Гессенский после лечения в Пятигорске минеральными водами заболел в Тифлисе желудком, увлекшись острыми блюдами и кахетинским.

Два дня пробыл Тато в Дилижане, бродил вме-

сте с Сенковским и Севарсамидзе по зеленым склонам, вдыхая кристально-чистый воздух, всем существом ощущая близость родины, которую ему уже не было суждено увидеть.

Последнюю ночь до отъезда в Елисаветполь Тато провел на просторном балконе дома Сенковского. Спал он крепко, без сновидений, что случилось с ним крайне редко.

Ранним утром двое всадников выехали из еще не проснувшегося Дилижана и поскакали по пыльному гянджинскому тракту.

Непривычно прохладным выдался сентябрь восемьсот сорок пятого в Елисаветполе...



Ее перетерплю. А что шепчу беззвучно,
За то б не осудил тот, чья в могиле мать.



Как в снегопад — бреду сквозь горе и стенанья.
Закрыло перевал. Метель следы забьет.
А люди, умерев, живут в воспоминанье, —
И память, как малыш, за матерью бредет.

3.

Есть проклятье у нас:
«Пусть закроется дверь за тобою!»
Вьюга в горестный час
Скрыла след ледяною крупую.

Вот распахнута дверь,
И очаг чуть дымится.
Верю я и теперь:
Ты должна возвратиться...

День пришел второпях,
Ты не вышла навстречу.
Сохнут кадки в сенях,
Приближается вечер.

И порог не мели,
И не верит он снова,
Что в такой ты дали,
Где не слышится зова.

Дом — как высохший рог,
Пуст очаг обветшалый.
Жизнь ушла за порог,
За тобой убежала.

Замер дом-сирота
И молчит бездыханно.
Настежь — дверь... Пустота —
Словно рваная рана.

4.

«Великий боже!

Будь для тех опорой,

Кто больше всех отвержен от тебя:
Кто болен и страшится смерти скорой,
И половины жизни не пройдя!



А после к тем спеши прийти на помощь,
Кто осужден людской неправотой:
Дай оправдаться им во всем всего лишь, —
И не потом, а в этот день живой!

А после тем пошли благословенье,
Кто затерялся на путях: и пусть
Они дойдут до отчего селенья, —
И за тебя всем сердцем помолюсь!..»

Так мать молилась часто среди ночи.
Отец — в пути, а в мире — дождь и темь.
И те слова, мне памятнее прочих,
Как будто вижу на ее плите.

5.

Нет, не грянули трубы и колокола,
Только вестник печали прошел по аулам:
Незаметная горская мать умерла —
И жила незаметно, и тихо уснула!..

Но пришли попрощаться по свежим сугробам
И оплакали горе, равно мне близки,
И родной и чужой. Молчаливо за гробом
Шли и дети, и женщины, и старики.

Сколько ласковых слов и участия на свете!
Доброту ее вспомнили все в эти дни.
Так печально глядели аульские дети,
Словно мать хоронил здесь не я, а они.

6.

На кладбище никто не молвил слова,
Пустого красноречия не жаль...
Немые причитанья шли сурово,
Стояла над могилою печаль.

Ведь издавна известно: слово лживо,
Правдивы причитанья не всегда.
Но эта боль безмолвного надрыва...
Ее немые слезы — не вода.

7.

Купала ли детей — орешки в мыльной пене,
Иль рукоять серпа зажата в ней была,
Вот — матери рука... Дрожит кольца свеченье...
О, солодовый дух, дух теста и тепла!

Рука чесала шерсть иль в казанок ныряла,
Рука месила хлеб иль гладила дитя.
Кольцо струило свет... Но вот рука упала,
И серебро кольца застыло, не светя.

Как будто круг луны, кольцо надел смущенно
На палец ей жених... О, память светлых дней!
Потупившись, как тур, сошедший с крутосклона,
В тот незабвенный миг стоял он рядом с ней.

Теперь он сгорблен, худ... Глядит, седоволосый,
На милое лицо, что стало вдруг мертво.
В обвисшие усы все льются, льются слезы,
И темный снегопад на сердце у него.

8.

Печали все и радости, как в детстве,
Я приносил, взрослея, первой — ей.
Летят года, но никуда не деться,
Все мальчик я для матери моей.

В свой горький час спешил я к ней, как в бурю
Птенец в гнездо стремится во весь дух.
Для матерей всё мальчишками будут
Герой и вождь, и пахарь, и пастух.

И верю даже, что Христос распятый
В последний час звал мать — сквозь боль и зной.
И бога не было, а был в тот миг проклятый
Обычный мальчик матери земной.

9.

Ее блаженством было жизни чудо:
Не человека только — дивным дивом
Козленок почитался, и, коль худо,
То у нее защиту находил он.



Щенка слепого оставляли в чаще —
Она о нем печалилась, бывало.
«Все ж он — душа живая, не пропащий...»
Под печкою его отогревала.

Не мог птенец проклянуться, усталый,
Она ломала дверь темницы белой;
Случайный колос у дороги вянул,
Из пригоршни полить его умела.

А слабых больше всех она любила,
Детей, телят и всходы, из-под спуда
Земли проросшие, — ко всем благоволила,
Ее блаженством было жизни чудо.

10.

Я знаю точно — солнце закатилось,
Как саваном, укрыто плотной тьмою,
Но кликну мать — и сразу, так помстилось,
Она в дверях возникнет предо мною,

Как будто вышла соли дать коровам
И возвратится — стоит подождать.
Да вдруг случится заблудиться снова?..
Боюсь окликнуть. Не могу позвать.

11.

Как рассказать о простоте и силе?
Слова порой — пустая скорлупа.
Земля и мать нас на руках носили,
Что ж делать, если молодость слепа?

Простыми были речь, лицо, тревоги.
Росла душа открыто, как трава...

И от заботы (от какой из многих?)
Она угасла... Что теперь слова!



Слова, слова, речей пустые звуки...
Мы, сыновья, все глупы, все смешны.
Беречь мы не умеем эти руки,
Что сберегают нас до седины.

Когда под ливнем, под осенней хмурию,
Мы, словно колос, гнемся, чуть дыша,
Вдруг вспоминаем: словно бурка в бурю,
Была над нами матери душа.

12.

Во мгле обид, затмивших свод небесный,
Я возвращаюсь к давней-давней были:
Схватил я руку матери над бездной
И сделал шаг, и страх свой пересилил.

Вот что вело меня всю жизнь, а ныне
Скудеет сила, длится боль разлуки...
Крест деревянный на погосте стынет,
Беспомощно раскинув руки...

Лишь память мне от матери осталась,
Лишь память — с нами...
Вот так от войска остается малость —
Одно лишь знамя.

13. К тени матери

Спой мне, нана, спой,
Войлок дерет мне кожу,
Песня, что пух под щекой,
Горе уснет, быть может.

Тихо слова напой,
В этой ночи горящей,
Чтоб волк не унес с собой
Плаксу в глухую чащу.

Спой, чтобы сакли тишь
Стала светлей, чем хоромы;
Спой, чтоб туренок-крепыш,
Спой, чтоб шалун-малыш
Не убежал из дому.

О хромоножке-сверчке
И о притворе-кошке
Спой, чтобы здесь в уголке
Радость жила немножко.

Спой же мне, нана, спой,
Землю укрыло тьмою,
Может, под голос твой
Горе уснет седое.

Перевод с осетинского
Михаила СИНЕЛЬНИКОВА и Наталии ОРЛОВОЙ



Мурман ДЖГУБУРИА

В ТЕНИ ГРУШЕВОГО ДЕРЕВА...

●
Р о м а н
●

Перевод Нодара
ТАРХНИШВИЛИ

Я НЕ МОГ вернуть
ся ни к дяде Чоито,
ни в Окуми. А дед Свино?
Как ни странно, меня не
тянуло в места чистого
своего детства, хотя вре-
мя от времени вспоми-
налась дорога в Куми,
высоченный кедр на се-
редине пути между Уки-
ри и Куми. Дерево вид-
нелось с довольно дале-
кого расстояния, живо
напоминало о Куми и
обо всем, что с ним бы-
ло связано, равно как
воспоминанию о Куми
неотлучно сопутствовало
могучее дерево. Кедр
стоит на одном и том же
месте, положение его
незыблемо и форма со-
вершенна, а вот портрет
деда Свино не написан
мной до конца, порой это
блеск иконы, создаваем-
ый игрой светотени,
воспринятый моим зре-
нием и разумом (зрени-
ем и разумом других он,
безусловно, будет вос-
принят иначе). Когда
бы бабушка Луца напи-
сала книгу о своем му-
же, получился бы боль-
шой роман, исполнен-
ный терзаний ревности;
дядя Але увидел бы его
с иной стороны. Дерево

Окончание. Начало см. в № 8.

рождало примерно одинаковые мысли у путников, идущих из Укири в Куми (или наоборот). Они, взглянув на кедр, скорее всего отметили бы в душе, что до Укири (Куми) осталось два километра или что, пока они дойдут до кедра, наступит вечер. Дерево было некой отметкой расстояния и времени. Оно и возникало подчас перед моим мысленным взором, и вспоминалось Куми. Ничего не западает в зрительную память сильнее картин природы, той или иной местности, будь то проломленный забор или кедр, разбитое молнией дерево или лесная чащоба, где тебя застигли сумерки, темнота за домом или маленькая лужайка, что перламутром поблескивает среди лесных зарослей, изгиб реки, полный щепок и щебня, просто камень, который ты перевернул в далеком детстве и увидел притаившегося под ним жука. Но куда подевались люди, которых ты увидел в Укири в базарный день, почему забылись они? При желании человек, возможно, восстановит услышанные голоса и увиденные образы, но это требует усилий. А кедр всплывает в памяти; он виден, даже когда не смотришь в его сторону, — глаза-то самые разные и зрение разное: люди зрят умом, зрят сердцем, зрят памятью, и затылком можно видеть. Однажды пройдя по лесу, на обратном пути не под ноги смотришь, а вперед — ноги сами чувствуют, по какой дороге идешь, где именно было лучше пройти и где не зацепишься за колючий кустарник, чувствуют и ведут. Что это, память? Помнит ли кедр, хотелось бы знать, как на разукрашенном бубенцами свадебном фаэтоне дядя Але вез из соседней деревни тетушку Нуу? «Даже комната услышала твое возвращение, сынок», — скажет мне мать через много лет, когда я вернусь из Тбилиси. Многое, что в той или иной степени на меня повлияло, я приписываю сейчас картинам природы. Вечернего базара, пройдет время, не вспомню вовсе.

Кедр снова и снова зовет в Куми, откуда я ушел своими ногами. Больше всего мне был неприятен предстоящий разговор с бабушкой Луцей. «Пропавши все Тутариа пропадом, измучили несчастную женщину, ей самой жить не на что», — скажет бабушка Луца.

За дядей Але шествует свинья, ее хрюканье слышится в конце виноградника, оттуда по тропинке дядя Але идет к бамбуковой роще. Але оставил открытой калитку в виноградник, и свинья не замедлила тотчас за ним побегать. Она как будто знала, куда и по какому делу шел хозяин. Так оно и было. Он шел трясти грушевое дерево в бамбуковой роще, и свинья бежала за ним. Низкая кустарниковая изгородь отделяла виноградник от бамбуковой рощи. Дядя Але перешагнул через нее, свинья, жалостливо похрюкивая и сопя, тыкалась рылом в забор, вскапывала землю, задирала морду, нюхая воздух, однако хозяин не обратил никакого внимания на призывы животного, только возвращаясь, увидел ее, оглянулся по сторонам в поисках палки, не нашел по лености и оставил свинью в винограднике. Лишь на следующий день, когда дед Свимо вернулся с поля и заглянул в виноградник, она обнаружилась. «Кто оставил калитку открытой?» — спросил дед, и бабушка Луца тотчас решила, что калитку открытой оставил я, и побледнела. «Кто оставил, отец, — сказал дядя Амидо, — открытой калитку виноградника? Спрашиваешь тоже или сам не догадываешься?» — так сказал Амидо, а дядя Але ответил вопросом на вопрос, чем, дескать, свинья повредит винограднику! И дед Свимо понял, по чьей именно вине калитка осталась открытой. Лицо бабушки Луцы расплылось в улыбке. Дед выгнал свинью из виноградника, швырнул прут к грушевому дереву, взял наточенную мотыгу и узкими проселками между полем и двором скрылся из глаз, не сказав ни слова, однако поздно вечером, когда мы поужинали, помыли перед сном ноги и подставили огню, дед Свимо сказал: «В дом внести вы ничего не можете, бог с ним, но и не возвращенное вами уносите и бросаете, где не следует».

Деда Свимо и в тот день не было дома. Он почему-то запаздывал, не возвращался с поля (где именно он находился, в поле или в лесу, где-нибудь на плаче или на пиру, у соседей или на собрании, — имело для остальных членов семьи определенное значение). Утром Амидо казался мне строже, чем вечером, потому что утром дед Свимо уходил, а вечером был дома. Таким образом, перепады в семейных отношениях зави-

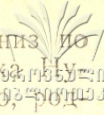
сели от местонахождения деда Свимо. Язык и сердце дяди Амидо были не в ладу друг с другом, как и у моей матери, впрочем, не зря ведь сказано: «язык матери проклинает — сердце молится» или еще: «язык матери проклинает — груди благословляют».

— Да как ты этого не понимаешь, — злился Кегва Саная, — возможно ли такие безбожные проклятия слать! — и в подтверждение своей правоты приводил притчу: мать разозлилась на сына за непослушание и призвала отца небесного проклясть его. Отец небесный это услышал и спросил: «От души ли ты проклинаешь дитя свое?» «Нет, — ответила мать, — я проклинаю поросенка, который стоит вон там, в поле». И поросенок тотчас испустил дух.

Притча Кегвы Саная не возымела никакого действия, мать продолжала меня проклинать, но, видно, глас души ее опережал уста, и это сводило проклятия на нет.

В день, когда дед запаздывал вернуться домой, бабушка медлила с обедом. Позднее обычного неторопливо мыла она кастрюлю у колодца, заносила в кухню, возвращалась, наполняла ведро водой и отправлялась обратно, положив ладонь левой, свободной руки, словно лист пальмы, на голову. Через открытую дверь кухни было видно, как она подвешивает над очагом кастрюлю с водой, что-то бормочет, о чем-то раздумывает. Потом из той дальней дали, где витали ее мысли и зрели сына на фронте, она возвращается в реальность. «Куда запропастился этот человек, хотелось бы знать!» — и снова мысли бегут вдаль и возвращаются: «Чтоб ты сдох...», — шлет проклятия бабушка; минуты две я смотрю на нее; повеяло прохладным духом сочной груши, благословенна тень ее после полуденной поры, тень и прохладный дух, знак приближения вечера.

Я сижу в комнате, пробегаю глазами строки, не запоминая их содержания, не понимая смысла. «Читай внимательней, внучек, вникай сердцем». Ничего не могу поделать — не лезет в голову и все тут. Впрочем, как бы я ни сосредоточил свое внимание, ничего из этой книги не вынес бы — пустая была книга.



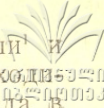
«Выучил уроки, бабушка», — и я спускаюсь вниз по лестнице; «Помоги тетушке, внучек», — тетушка Нуну расчищала хлев. «Ну-ка давай выбросим это, родненький», — она показала рукой на большое деревянное корыто. Взявшись за ручки по краям его, мы вынесли из хлева солому и сухие кукурузные листья, смешанные с навозом. Я, естественно, подался в сторону кратчайшей дороги со двора; «Не дури, Миха, родненький, — сказала тетушка, — в виноградник навоз нести надо». Мы с трудом протиснулись в проход между изгородями, и я собрался было опрокинуть корыто прямо у входа в виноградник, но не вышло, ничего не поделаешь, пришлось идти вдоль ряда лоз.

— И здесь ведь навоз требуется, — заметил я.

— Иди, родненький, иди!

— Разве навоз здесь не требуется?

Ответа не последовало. Мы добрались до самого конца виноградника. Тетушка отошла в сторону, дожидаясь, пока я опорожню корыто. Его стук насмерть перепугал птичку, притаившуюся в тени густой листвы виноградника, она пулей взлетела вверх и исчезла в ближнем бамбуковом лесу. «Птичкам и то жарко», — подумал я, следуя за тетушкой с пустым корытом в руках. Я видел ее голые ноги, порванное платье, нити, свисающие с отрепанного совершенно подола. У нее сильные ноги, ширококостные и мускулистые; большие ступни медленно, спокойно ступают между рядами лоз, я и ныне слышу какой-то ритм, какой-то размер сродни размеру замечательной нашей народной поэзии, тому самому, которым создавалась поэма нашего двора; все ее строки равны по количеству слогов; стихи текут размеренно, плавно, спокойно и прерываются где-нибудь у плетня, где-нибудь у лестницы, где-нибудь у реки и переступают через плетень, поднимаются по лестнице, переходят вброд реку или отдыхают в тени дерева, переводят дух, греются у огня, и так длится день-деньской, всю жизнь, пока они не замрут окончательно. Ритм шагов согласовывается с биением сердца, с дыханием, движением рук. Это был подлинный эпос, эпическая поэма. Тетушка Нуну никогда не носила обуви на высоких каблуках, обута



она была либо в галоши, либо в деревянные коши¹ и не надевала чулок, — если, конечно, не приходилось идти на свадьбу или похороны, — время года в счет не шло. Однажды у нас гостили Сэве Конджариа со своей нежной супругой (мы, как обычно, на лавке под грушей), тогда я впервые увидел, как тетушка Нуну, краем глаза увидев телесного цвета чулки нежной Саломе, спустила пониже подол своего длинного ситцевого платья, прикрывая голые ноги. Платье скрыло ноги, одни галоши остались на виду.

Тетушка Нуну поднимала в кукурузник корзину, наполненную кукурузными зернами.

— Я сама, отец, я сама, — говорит она деду Сви-мо, подставляя под ношу широкую спину. На ней легкое платье, с левой стороны, там, куда должна быть поставлена корзина с кукурузой, подложен потрепанный кусок сатиновой или шерстяной материи или какой-либо ткани поплотней. «Убили вы ее, замучили, одно слово», — сердится бабушка. Але нет дома, верно ушел в Конарио или на укирский рынок — за солью, топором, фитилем для лампы, красным сатином или пестрым ситцем. Помню, с каким удовольствием я рассматривал вечером ткань, привезенную дядей Але. Нуну прикладывала ее к груди, как бы спрашивая, к лицу ли, но ничего не говорила — может, материя понравится и другим. Потом наступала очередь бабушки, она секунду проверяла Нуну: не годится материя, говорила намеренно, когда замечала по глазам невестки, что той она нравится. «Что ты, мама, — тотчас возражала невестка, — материя эта как раз для тебя» или: «Есть ведь у меня, не износилось еще платье», и, бывало, ткань никому вовсе не доставалась, валялась где-нибудь в сундуке, ни одна из женщин по стеснительности, из боязни оказаться непочтительной по отношению к другой, о ней не спрашивала, и ситец выцветал в сундуке или дожидался явления в семье новой жизни, и, если рождалась девочка, ей, уже повзрослевшей, шили платье.

Я не раз задавал себе вопрос, почему тетушка Ну-

¹ Коши — обувь без задников.

ду трудится столь усердно, выполняя нелегкую мужскую работу, но не находил ответа. Сейчас мне кажется, что не бывает, чтобы два человека, муж и жена в данном случае, одинаково усердно служили этой жизни. Если мужчина — личность никудышная, его заменяет женщина, это что-то вроде закона природы, устой семьи прочны, она набирается сил и сама творит свое завтра. Дед Свимо сеет кукурузу. Случается, несколько зерен очутятся за грядкой, дед мотыгой сгребает их обратно, засыпает землей и продолжает сев. История одного семени может вместить в себя весь мир — вначале это всего-навсего зернышко, потом целый злак — кукуруза, потом четыре - пять початков и невесть сколько ростков кукурузы от каждого початка, затем кукурузное поле, и урожай с него достаточно большой семье на весь год... Так я говорил, что в семье кто-то кого-то заменяет, это вроде закона природы: тетушка Нуну, стоя на земле, подрезает ветви шелковицы снизу вверх. Она вытягивается во весь рост, поднимается на цыпочки; работать в таком положении неудобно, она взбирается на забор, так способней. «Как бы не упала, — ворчит бабушка, — извели вы ее, чужое дитя, до смерти». На сей раз ее слушать некому: ни деда Свимо, ни Але, ни Амидо нет дома. «Спускайся, спускайся вниз, не напорись на кол, будь он неладен». Рассказ всегда связан с какими-то отрывочными, услышанными краем уха, полупонятными, почти позабытыми историями, детали которых сохранила память, и эти детали неожиданно воскрешают давно минувшие дни, их звучание и цвет, заставляют подумать о том, о чем никогда не думал и, как казалось, никогда не вспомнишь. «Боже мой, боже мой, да будет благословенно имя твое, почудилось, дитя по небу шло», — так сказала бабушка Луца о Квази Дарандиа — младшем сыне Чаху Дарандиа. Он гнал коз по Кумской долине, она тянется вверх и переходит в небо, снизу, из нашей усадьбы, виден маленький Квази и козы, они ступают по небу. Бабушка перекрестилась. Она перекрестится и вечером, если увидит Квази с козами, медленно бредущего с неба домой...

«Ну и обтрепались эти сапоги, отчего бы?». «От времени, голубушка, от времени». Однако время не в силах истрепать ту первозданность, тот первоисток, ко-

торый остался в сердце. Те новые сапоги навсегда помнишь новыми, какими одел впервые. Мать Нуно помнит, как, заметив при тусклом свете коптилки или почуввав сердцем, что девочка высунула из пеленок ножки, целовала крохотные пальчики и пеленала дочь заново... Но в моих глазах ноги тетушки Нуно были такими, какими я видел их сейчас, у шелковицы, или тогда, в винограднике, не в воображении, а в реальности, ясно и зримо. Я видел, как они двигались, но не видел, как они ходили, — у них не было времени ходить, ходили ноги дяди Але — Але любил ходить.

Дед Свимо вернулся с поля после полудня, ближе к вечеру. Пора было разминать гоми в котле, когда к воротам подкатила черная «эмка»; из машины вылез дядя Чонто с фуражкой в руке. Невысокого роста, коренастый водитель подошел к воротам, отодвинул засов, распахнул их во всю ширь. Мы все поднялись навстречу гостям. Впереди дед Свимо, я рядом, за ним бабушка Луца, за ней тетушка Нуно и в конце наша собака (я не вижу ее, но знаю, что она следует за нами). Если бы пришел кто-нибудь из посторонних, она первой встретила бы его, но дядя Чонто не был чужим в нашем доме.

Прежде, чем мы подошли к воротам, человек, сидевший за рулем «эмки», успел сесть в машину, по видимому, не собираясь у нас задерживаться, дед Свимо догадался и окликнул его: «Как же так! Будь христианином...», снял шапку, приблизился к дяде Чонто, посмотрел в глаза, развел руки в сторону и прижал его к груди.

Тот человек вышел из машины.

— Спешу очень, — сказал он.

Дед Свимо взглянул на небо.

— Вот ведь и оно, благословенное солнце, спешит, но завтра снова должно сюда вернуться.

Пора была предвечерняя. Тот, что был за рулем, не стал упорствовать. Дед пошел несколько впереди, и мы снова оказались возле нашей груши. Бабушка Луца и дядя Чонто осведомились о самочувствии друг друга, тетушка Нуно вынесла из дому стулья, гость присел на лавку, дед Свимо продолжал стоять, дожи-

даясь, пока сядет Чонто. Нуну расставила стулья. На тот, что оказался в самой густой тени, усадила дядю Чонто и обернулась к гостю:

— Садитесь на стул, пожалуйста.

Тот не согласился ни в какую, сказал, что так ему лучше, и остался сидеть на лавке; Нуну вынесла из кухни длинный узкий стол и поставила его в тени груши. Наша собака, устроившись на излюбленном месте под забором, наблюдала за людьми.

— Войдем в дом! — сказал дед Свимо, но дядя Чонто заметил, что на воздухе лучше, на том и порешили.

Потом дед Свимо поднялся, попросил гостей последовать за ним и направился в марани. На этот раз процессия состояла из деда Свимо, дяди Чонто, гостя и меня. В марани дед снял крышку с кеври, взял черпалку и подозвал дядю Чонто:

— Взгляни-ка, будь другом.

Дядя Чонто глянул в кеври, за ним гость. Дед подождал, давая заглянуть и мне. Золотистый свет проникал сквозь щели марани, скользнув по краю кеври, спускался вниз, в вино, и оно становилось какого-то странного цвета (если это вообще можно было назвать цветом). Нечто похожее мне привелось увидеть на черноморском побережье вечером, когда солнце уже опустилось, но было светло, и, казалось, оно где-то вокруг. И это мгновение в равной мере можно назвать и днем, и ночью, и утром, и вечером, спокойным, как вода в графине на столе в гостиной — налитая до половины или чуть больше, или чуть меньше, все одно, вода не колеблется; цвет в кеври колебался, цвет переходил в цвет, а виноградный сок был неподвижен, но жил и дышал. Дед Свимо зачерпнул его. Рубиновые капли вина струйками потекли с черпалки, дед Свимо протянул ее шоферу — незнакомому гостю, тот отпил и собрался было дать попробовать дяде Чонто, но дед протянул вперед правую руку и лишил его этой возможности. Выпил и дядя Чонто, и я искренне огорчился, что никак не могу быть причислен к взрослым. Дед выпил и отдал пустую черпалку незнакомому гостю.

— Ну-ка, теперь из этого кеври отведаем, — ностость заупрямился: как это так, мол, может ли такое

вино не понравиться. «Быть по сему», — сказал дядя Чонто, и других вин пробовать не стали.

Стол под грушевым деревом был уже накрыт.

— И впрямь благодать здесь сидеть, — проговорил гость, во все глаза рассматривая листву груши.

— Я такой и представляю себе благодать, — сказал дядя Чонто.

Чем больше проходило времени, тем ценней становилось наше грушевое дерево, тень удлинялась, ветерок шелестел в листве. Мужчины пили вино, закусывали куриными ножками и крылышками, обмакивали ломти гоми в острую подливу, заедали острой зеленью цицмати и молодым зеленым перцем.

— Даже эвкалиптовые листья не помогли? — спросил дядя Чонто.

— Нет, родной, нет, врач нужен, врач, — отозвалась бабушка Луца. Она прислушивалась к разговору через открытые двери кухни, стараясь не упустить ни слова, и, только подвернулся случай, включилась в беседу.

— Расширением вен это называют, — сказал дядя Чонто. — Ничего страшного, только требуется уход и лечение.

— А кто за ней ухаживать будет? — заметил дед Свимо. — Сама бы за собой присмотрела, но где у нее время, у бедняжки.

— В больницу надо лечь, Свимо, государь мой, другого выхода нет.

— Сегодня же отвези, родимый, сегодня же.

— Потому и приехал, Луца, дорогая!

— Трудновато будет помочь, — заметил дед Свимо, — ни жары она не чувствует, ни холода, босой ходит, когда снег по колено, и хоть бы хны.

— Потому как здоровая женщина, — заключил Чонто.

Тень груши еще выросла, достигла дома. Я наливал вино в стаканы—мужчины пили, пил и гость—шофер «эмки», пил, как все остальные, до дна. Бабушка Луца то и дело выходила из кухни, ставила еду на стол, окидывала его взглядом, проверяла, всего ли вдо-

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...

вошь, но, как позднее выяснилось, бабушка в основном выходила узнать, пьет или не пьет шофер «эмки».

Нуну в тот вечер осталась дома, да на том и кончилось, — дядя Чонто не приходил больше забрать ее к врачу, наверное, обиделся, что бабушка ни в какую не позволила это сделать в тот вечер. Она и их не отпускала, его и шофера, потом с трудом согласилась отпустить шофера, но дядя Чонто, несмотря на угрозы, уехал с ним. Машина, сигналив, миновала усадьбу Чаху Дарандиа, проехала проселок и исчезла за поворотом. Красное солнце опускалось за горы. Рубаха на груди деда Свимо была расстегнута, приятная прохлада лилась на разгоряченное вином тело.

Он был возбужден и как-то очень радостен, никогда прежде я не видел его в таком настроении. Он был счастлив и на редкость долго шел от калитки к кухне, где уже горел огонь и перед ним, словно тень, в задумчивости сидела бабушка Луца. Тетушка Нуну хлопотала во дворе, ее голос и ворчание доносились откуда-то из хлева. Она беседовала с буйволом, коровой, козой (я, не видя, мог сказать, с кем именно). «Чтобы ты в болоте увяз», — говорила она буйволу; «Чтоб тебя волк задрал», — говорила она корове; «Чтоб вас шакалы загрызли», — говорила она курам и так далее, кому что подходило. Или ласкала скотину, и слышался ее проникновенный голос и благословения. Присев у огня, дед Свимо вдруг вспомнил о сыне, спросил его, и тотчас у него испортилось настроение. Он встал и, пошатываясь, отправился домой спать. Луна поднялась над горным хребтом.

«...Ах, луна светлая,
Оберегай ты меня...» —

раздался звонкий голос младшей дочери Дарандиа, и дневной мир исчез. Мы заперли ворота на засов и поднялись в дом. Когда я проснулся, со двора доносилось сплошное пение птиц.

Я встал, открыл заднюю дверь комнаты, сунул ноги в галоши, которые вечерами оставлял на балконе, спустился во двор и, свернув налево, открыл калитку виноградника. На обратном пути, на тропинке, ведущей к хлеву, я увидел тетущку Нуну, она успела вы-

пустить скотину, погнать ее со двора, расчистить хлев и теперь шла по тропинке с пустым тазом в руках.

— Или ты влюбленный, мальчик, что поднимаешься спозаранку, — приласкала меня тетушка, — дед в поле ушел.

Я взбежал по каменным ступенькам, снова вошел в комнату, лег в постель — она все еще была теплой — и поплотней закутался в одеяло, но никак не мог успокоиться и, поворочавшись в постели, встал и, быстро одевшись, выскочил во двор. Птицы пели не переставая, перелетали со двора во двор, с дерева на дерево — воробьи, крапивники, синицы, зяблики, — на лужайке, что вдоль забора, пел дрозд, притаившийся в траве, он вдруг высовывал голову, водил по зелени красным клювом, ненадолго замирал, вновь высовывал голову и щелкал отчетливо, громко перед тем, как взлететь. На ветке высокой акации по ту сторону двора одиноко и грустно сидел дрозд-деряга; туман рассеивался, местами он висел клочьями, белый и легкий, как вата; земля просыхала, пар поднимался вверх, ненадолго отдыхая по пути; блестела роса. Петух бодро крутил головой, вытягивал шею, словно военачальник, оценивающий местность, за спиной петуха вполголоса кудахтали куры, пищали золотистые цыплята, и царил мир в петушином царстве. В открытых дверях кухни виднелась бабушка Луца, деревенское стадо лениво тянулось вверх по склону, а дрозд-деряга сидел на прежнем месте, на ветке высокой акации; приподнимал голову, вытягивал шею, втягивал обратно. Я впервые в тот год увидел дрозда-дерягу в такой близости. Начиная август, и дрозд с заболоченных плавней что ни день все ближе подлетал к жилищам. Все больше становилось дроздов и крапивников — красногрудых птиц, о воробьях и зябликах и говорить нечего. Впрочем, появились не одни только птицы. Волки, по слухам, пересекли прибрежную рощу, широкое кумское поле и исчезли неизвестно куда. Ружья молчали, у них ведь тоже своя пора, как у всего другого, будь то птица или растение. В сентябре пересвист перепелов оглушала людей. Тогда-то и начинали веселиться ружья. Але привез с укирского рынка изрядное ко-

личество пороха, дробы и бумажных гильз. Одноствольное ружье висело на кухне. Птица приближалась к деревне.

По утрам стало холодно, а тетушка Нуну по-прежнему ходила босиком.

— Надень, доченька, галоши, на кой леший их прятать! — говорила бабушка Луца невестке.

Нуну словно не слышала слов свекрови.

Птицы, когда наступит зима, усядутся на балконные балясины; балкон темно-серый от времени, столбы и резные изъеденные перила с птицами вписываются в него; они — неотъемлемая часть балкона, его украшение. Птицы сидят подолгу, неподвижно, как и их деревянные копии на столбах ворот или медальонах, в углу которых выют свои гнезда белогрудые ласточки; если открыто окно, ласточки залетают и в комнаты, заглядывают в кухню, притаившись на убитой земле перед входом. Птицы с ветвей ближних деревьев, наклонив набок головы, грустно смотрят на возню людей во дворах. Зима сближает птиц и людей: если снег будет идти, не переставая, несколько дней кряду, птицы готовы чуть ли не за пазуху залезть. Я смотрю на дрозд-дерягу. Он сидит высоко на ветке акации и тоже смотрит на меня. Я иду без ружья вдоль забора, и птица следит за мной, словно понимая, что я не представляю для нее никакой опасности. Я подхожу ближе, и она начинает вертеться беспокойно, о чем-то думает, но пока не покидает своего места. Птица изучает двуногое существо, которое очень медленно передвигается с одного места на другое; она может перелететь на акацию подальше, но выжидает, будто говорит, что она не враг мне, да и, как бы того ни захотела, осилить меня не сможет, и не надо становиться ей врагом. Только когда я приблизился на ружейный выстрел, она перелетела на другое дерево; так всегда, когда зима вступит в свои права. В разгар зимы дрозд-деряга подпускает на ружейный выстрел, и я стреляю, стреляю потому, что я не птица, а человек и время от времени должен убедиться в зоркости глаза и безжалостности сердца.

Коцо Дарандиа, не заходя во двор, спросил, нет ли дома Але.

— Нет его дома, — отозвалась тетушка Нуну.

— Мы вырубаем кустарник в Кумской впадине.
Але позарез нужен. Свимо дома?

— Разве отец бывает дома в такое время, Коцо милый, нету его дома.

— Ну так что мне теперь делать? Але больно нужен, участок расчистить надо, Малия-то здесь, Нуну?

— Малия в роще пасется, Коцо, милый.

— Я заберу лошадь, ежели, конечно, поймаю.

— Не делай этого, Коцо, обидится отец.

— Нету иного выхода, Нуну, милая, или человека привести туда должен, или рабочую скотину.

— Ах, провалиться мне на месте! Хотя бы отец дома был! Позволь, Коцо, хоть матери сообщу...

Дарандиа ждать, однако, не стал, пустился вниз по тропинке, ведущей к роще. Бригадир, как выяснилось, поймал лошадь и отвел расчищать участок. Але вернулся вечером домой пьяный (дед Свимо сидел у входа на кухню) с Малией, погоняя ее прутом. Лошадь брыкалась от боли, ржала, пыталась вырваться, но Але крепко держал привязанную к ее шее веревку и бил, бил беспощадно.

— Скажи ему, будь человеком, — сказала бабушка Луца, — сам видишь, загнал лошадь сумасброд этот.

Глава семьи сидел у входа в кухню и молчал. Это было тяжкое молчание.

— Чтобы окаменели вы все, — сказала бабушка, — или не видите, человек живую тварь убивает!

Вечерело. Убывал свет дня, и мне захотелось, чтобы внезапно наступила ночь, может, хотя бы тогда перестанет пьяный Але мучить бедную Малию.

— Вот тебе! — выкрикивал Але, и прут, свистя, разрезал воздух. — Вот тебе... Вот тебе... Вот тебе! — неистовствовал человек-зверь.

Тетушка Нуну прижала меня к груди. Але перебил прут о хребет лошади и пинком погнал ее в поле.

— Пойдем, ложись спать, — сказала Нуну, помогла мужу подняться в дом и вернулась.

— Миха, не поленись, согрей, пожалуйста, воду для деда.

Я подвесил небольшой чугунный горшок с водой к тагану посередине камина.

Отправилась спать и бабушка Луца.

Я налил горячую воду в таз, пододвинул поближе к деду и собрался было помыть ему ноги, но он не позволил, и мне ничего не оставалось, кроме как выйти из кухни. Потом я видел, как он поднялся на балкон, сел у перил и устался в ночь.

...Мы привели Малию домой, тетушка Нуну долго натирала ей чем-то исполосованную спину, круп и ноги, что-то шептала ласково, укрыла бока мешковиной и попросила меня прогулять лошадь. Я походил с лошадью по двору, пока Нуну не забрала ее в конюшню.

— Пойдем, вымою тебе ноги, — сказала она, завела меня в кухню.

Мне бы мыть в ту ночь усталые ноги тетушки Нуну, да разве она бы позволила; она постелила мне постель, уложила, и после я слышал её шаги на балконе. Глухой звук шагов затих постепенно — тетушка Нуну отправилась на кухню, наполнила чугунную кастрюлю, повесила над очагом, занялась каким-то делом — дела у нее не переводились. Согреться вода, и, не разбавляя ее, как все остальные, холодной, она опустит в нее ноги. Горячая вода была ей приятна, она подолгу держала ноги в тазу, положив локти на колени и задумчиво глядя на затухающий огонь; под конец вставала с табуретки, совала ноги в галоши, выливали воду во двор и поднималась домой. Мне к этому времени снился, должно быть, десятый сон, как у нас выражаются, а дед Свимо по-прежнему неподвижно сидел на балконе и видел, как расцветает луна над главным Уртским хребтом. Далекое звезды усеивали небо...

— Постель готова, отец, — скажет тетушка Нуну, уходя в свою спальню. Там она поправит мужу сползшее одеяло и подушку и препоручит сну исполненную раздумий голову, но перед самым сном непременно навестит ее еще одна мысль, она принадлежит дню завтрашнему и необходима как воздух, необходима и нужна, как необходимо и нужно заснуть и отдохнуть нынче.

Кедр тем временем медленно растворяется в сумраке, теряет свои чары, окрестности погружаются в темноту, да и мне нечего рассказывать больше о Куми, сужается простор моих мыслей, в тысячный раз полощу в проявителе снимок, но изображения нет никакого — снимок испорчен, одна сплошная темная пелена. Мелькнет мысль, что придется снимать все заново, но стоит выглянуть из маленького окна во двор, поймешь, что сегодня ничего не сумеешь сделать, небо сплошь усеяно тучами. «Завтра отсниму, — говоришь про себя, — или послезавтра, какое имеет значение». Потом, может, и позабудешь вовсе всю эту историю, а то и засомневаешься — стоило ли вообще переносить ее на бумагу. Покажется даже, что ничего не потерял из-за испорченного снимка; может, и такое снимешь, что никому и не снилось, и при этой мысли вспоминается улица близ укирского автовокзала. На мостовой сидит Туха Саданиа. Полный каштанов мешок стоит перед ним, рядом с Туха примостился на корточках нищий, взлохмаченный и жалкий, он христарадничает, вытянув вперед иссохшую руку. Туха Саданиа берет у покупателя деньги и сыплет ему в карман каштаны. Два человека, как приклеенные, сидят друг подле друга. Кое-когда прохожий швырнет двугривенный в иссохшую ладонь. Нищий благословляет добрую душу. По улице взад-вперед снуют люди.

* * *

Постепенно я отошел от вечернего базара, от своих сверстников из рода Саданиа, уже не торговал ни фруктами, ни папиросами, бросил играть. Больше всех остальных это огорчало Жучка. Сосед наш, Коля Чаганава, купил «Победу», и я пропадал у него, помогал ухаживать за машиной, старался постигнуть тайны вожделения и постиг-таки, научился водить. Коля Чаганава уставал или ему попросту надоедало, он перепоручал мне руль и дремал в углу на заднем сиденье. Я развозил по домам запоздалых путников, одним словом, стал помощником Коли. Чаганава обещал устроить мне водительские права, если буду хорошо себя вести. Это

меня вдохновляло, что и говорить, однако прошло много времени, и бывшие страсти пробудились вновь. Однажды, когда Коля заехал забрать меня на нашу ночную работу, я отказался. «Миха уходит по другому делу», — сказала ему мать с гордостью. Объявился у нас родственник со стороны Кегвы Саная, начальник шахты в Акрамаре, он предложил для меня работу, пообещав, как это всегда и все в таких случаях обещают, «сделать из меня человека». Акрамара — это где-то в Абхазии, в горах. Звали нашего новоявленного родственника Гугу Микая, он был горный инженер, вырос сиротой, сам начинал с простого рабочего-проходчика, окончил в Ткварчели вечернюю школу, поехал затем в Тбилиси, поступил в вуз, обзавелся там семьей и уже с семьей приехал в Акрамару. Мать где-то случайно его встретила и рассказала о моем житье-бытье в мельчайших подробностях, так, мол, и так, не знаю уж что и делать, хоть топись. И предложил Гугу Микая привезти меня к нему на шахту. «Способный он, — сказала мать, — да вот ни к какому делу не привязался. Машину водить умеет. Может, заинтересуешь его как-нибудь». Вот и отправились мы с моей бедной матерью в шахтерский городок Акрамару. Его окрестности красивы на редкость. Дорога вьется вверх меж гор, покрытых густым лесом, повороты настолько круты, что кажется, будто едешь по кругу. Из-за этого пассажирам дорога не нравилась, говорили, что часты аварии; так или иначе, автобус потихоньку продвигался вперед. Порой впереди из-за леса вынырнет встречная машина, до нее, кажется, рукой подать, но в действительности километров пять. Автобус с воем поднимался вверх. Мать сидела рядом со мной и смотрела в окно, вся во власти своих, ей одной ведомых мыслей. Лицо у нее было спокойное, умиротворенное, и по нему я чувствовал, что она молится за меня природе, больше надеясь на нее, чем на человека. «Не приезжай в Укири в одиночку, сынок, когда захочешь нас повидать, дядя Гугу соберется — с ним и ты...».

В Акрамару мы приехали днем. Жена Гугу Микая встретила нас приветливо, по-домашнему, верно муж ее предупредил. После традиционных обоюдных вопросов — как живется-может, хозяйка поста-

вила на стол блюдо, доверху наполненное лесными орешками, и три тарелки. Орешки были крупные, чуть продолговатые, точно такие, как в орешнике Свимо. Я их любил, и на моей тарелке вскоре выросла горка скорлупы — мать украдкой пересыпала ее к себе, так что, случайно бросив взгляд в мою сторону, жена Гугу Микая удивленно спросила, почему я ем так мало. «Такой он, — как бы извинилась мать, — ничего не кушает в гостях. Так уж я его приучила». И я понял, что она советует мне вести себя поскромней у чужих, вообще-то, людей. На следующий день она уехала обратно в Укири; Гугу Микая устроил меня в общежитие, в маленькую комнату, где стояли кровать, стол и стул. Из окна виднелась главная улица Акрамары. На улице, по левую ее сторону, располагались кинотеатр и столовая, по правую — танцплощадка; улица разветвлялась, сворачивала на север, к шахте, и на юг — в сторону находившегося поблизости Ткварчели. Мне выдали брезентовый комбинезон, стальную каску, лопату и поставили опорожнять вагонетки с углем. Я проработал там полгода — кто бы пустил неопытного юнца в шахту, а я только и мечтал поработать шахтером, шахтеру и зарплату платили хорошую; к тому же, здесь я работал один среди женщин, не с кем было переброситься словом. Порой после рабочего дня я шел в гости к дяде Гугу или заходил к нему в кабинет — он допоздна засиживался на работе. Дядя Гугу усаживал меня рядом, спрашивал о самочувствии, нравится ли мне работа, хочу ли в школу. Сказать по правде, мне больше хотелось работать, чем учиться; в акрамарской вечерней школе главное — не пропускать, а урок выучил или не выучил — все одно, тройку получишь из милости. Другое дело — работа, хотелось заработать побольше денег, чтобы и семьей обзавестись, словом, жить, как к тому времени жили все мои сверстники. По воскресеньям дядя Гугу бывал дома, и я шел к нему за очередной книжкой: Драйзер, Диккенс, Свифт, Сервантес... Библиотека у Микая оказалась отличная, и всегда, получая очередную книгу обратно, он устраивал мне нечто вроде экзамена, желая удостове-

риться, на самом ли деле я читаю книги. В момент после прочтения я все хорошо помнил, но задай те же вопросы через год, увы, я ничего не смогу ответить — истории, описанные в книгах, забывались, забывалось кто кого любил, кто в кого стрелял, ранил или убил, забывалось главное — ради чего писалась книга, а мелкие истории застревали в памяти. Я помнил, к примеру, какая описывалась погода, шел дождь или было жарко, и прочее. Из одной прочитанной в ту пору толстой книги я помню только то, чего, уверен, кроме меня никто не помнит, да и не стоит помнить, настолько оно незначительно. С тех пор прошло достаточно много времени, и однажды, когда вспомнился тот эпизод из книги, я взглянул на небо и увидел, как оно двигалось — белые облака (сохранившиеся в памяти из книги) плыли медленно-медленно, и если взглянуть попристальнее, казалось, что движется все небо. Этой картины, однако, в книге описано не было, я мысленно сам ее создал, но прочитанная книга дала тому импульс. А вот Джани Хантуриа, он и через три года вспомнил бы содержание книги во всех подробностях. Ну и память была! Тем не менее однажды наша учительница грузинского языка сказала: «Не знаю, — говорит, — как по другим предметам, а у меня Тутариа лучше всех, да что толку», — и я полностью был с ней согласен в том, что способности мои ровно ничего не означают. Возможно, учительница просто-напросто меня подбадривала, чтобы я занимался с большей охотой. А так могу с уверенностью сказать, те пять лет, что я проучился с Джани, вся пора ученичества, прошли всеу; в классе было человек тридцать, но учеником был (или считался) один, и из-за этого одного ученика усердствовали учителя, они учили не нас, а Джани Хантуриа, и когда я сейчас над этим задумываюсь, мне кажется, что педагог, пускай он выдающийся, никого, кроме одного, избранного им ученика, ничему не обучит.

Гугу Микая перевел меня на работу в шахту, проходчики продвигались вперед, расчищали проход, крепильщики укрепляли деревянными окладами свод, вагонетками вывозили вырубленный уголь. Я гордился своей должностью помощника машиниста, но только

на первых порах. С лязгом и скрежетом бегут во тьме вагонетки, неожиданно одна из них сойдет с рельсов. Мы идем к вагонетке, наполненной углем, хватаем ее за борта руками, стараемся поставить ее обратно на путь, пот льется в три ручья, кое-как вагонный ряд восстанавливается в прежнем порядке, но не тут-то было: секунда-другая, и новая вагонетка соскакивает с рельсов! Надо же, когда ноги дрожат от усталости.. Наконец смена заканчивается, выйдешь на воздух, приплетешься в баню, усталый до невозможности, искупаешься, сменишь одежду и отправляешься домой.

Надо идти в школу, да лень, клонит ко сну, все тело ноет, ноги, словно ватные. Валишься на постель и засыпаешь, как убитый. «Чью-то квартиру разграбили», — слышится сквозь дремоту. Стучат в дверь, прикидываюсь спящим, лень вставать, шевельнуть рукой и то лень, однако встаю, смотрю из окна на столовую, одеваюсь и выхожу на улицу. На танцплощадке играет музыка, и пары сменяют друг друга. Парень и девушка, девушка и парень, две девушки, две красивые девушки, танцуют, танцуют без конца, каждый вечер. Одна светленькая, другая — черненькая. Мне нравится светленькая, приглядываюсь к ней тайком, она это замечает и уже возникает между нами какая-то связь, мы оба это чувствуем, хотя и не знакомы, даже имен друг друга не знаем. Потом к девушке подходит какой-то парень в рубаше с расстегнутым воротом и запанибрата с ней разговаривает...

Да, значит, кого-то обворовали. Ну и боялся я — как бы меня в краже не обвинили. Комендант все-таки подошел ко мне: «Ты из Укири?» — спрашивает; «Да», — отвечаю. Комендант ничего не спросил больше, видно, знал, что прихожусь родственником Гугу Микая, но, с другой стороны, он вполне мог в этом усомниться, поскольку я жил в общежитии, а не у Микая дома. Сомневался — не сомневался, а вслух не говорил ничего: комендант испытывал чувство глубокого уважения к начальнику шахты, и поэтому его сомнения были довольно шаткими. Ко всему ко мне в гости приехал из Укири Жучок. Я встретил его дружески, предложил переночевать. Остаться-то он остал-

ся, но вся Акрамара об этом узнала. Узнал и Гугу Микая; не знаю, кто ему сообщил, комендант, очевидно. Жучок, я и двое местных ребят посидели в столовой, выпили вина, ни драки не затевали, ни шума не поднимали. Жучок наутро попрощался с нами и отправился к себе в Укири, как выяснилось, обчистив до того комнату в общежитии. Не знаю, почему он скрыл это от меня, побоялся, верно, что я стал рабочим человеком и, неровен час, мог его «заложить». Мне было обидно вдвойне: и из-за поступка Жучка, и потом из-за его недоверия, ко всему в придачу чуть ли не все окружающие вызывали во мне чувство отращения, осточертела каждодневная в общем-то серая жизнь, и я твердо решил уехать восвояси, даже собрал чемодан и выглянул по привычке в окно. Пора была вечерняя. Музыка уже играла, призывая танцоров. Я вспомнил светленькую девушку и как будто даже увидел ее в толпе, запер двери комнаты и вышел на улицу.

Я прошагал около пятнадцати километров от Акрамары, поднимаясь все выше и выше в сторону густого дремучего леса, где брал начало маленький родник, — дорога в Укири вела вниз, на юг.

Была, должно быть, полночь, когда я вернулся домой. Тишина царила в Акрамаре, танцплощадка была пуста, из окна моей комнаты виднелся поселок с его безотрадными постройками, освещенный слабым светом лампиров. Я прилег на кровать, не раздеваясь, снова поднялся, выкурил папиросу, одну, другую... Не помогло. Никак не мог успокоиться, что-то звало во двор, на улицу. Я закрыл дверь и ночь напролет метался взад-вперед возле дома, где жила светловолосая девушка.

На работу я не вышел. Гугу Микая вызвал меня к себе, уговаривал, увещевал, совестил: так, мол, и так, твоя мать на тебя надеется, может, все, что с тобой происходит, по вине этого твоего гостя, не утайвай. Нет, отвечаю, он тут ни при чем, у меня ничего вообще не получается, не знаю, что и делать. «Может, ты, Миха, стихи пишешь?» — спросил он меня как-то задумчиво. С чего это он, хотелось бы знать, может быть, мой растерянный вид навел его на такую мысль? «По-

еду в Укири, дядя Гугу, — все равно скоро на восьми-
ную службу отправляться».



* * *

Саданиа обрадовались моему приезду. Они-то в мое отсутствие наверняка время от времени обо мне вспоминали, думали, где я и как, учусь или работаю. Коротко говоря, квартал Саданиа интересовался, что за человек из меня получится. «Сбежал, Миха-внучек, или на время из Акрамары приехал?» — спросил Джоко Саданиа. Вечером зашла в гости Пуху Саданиа и затеяла разговор с моей матерью. «Так оно, Нани, и перемена места не помогает делу (я тут вспомнил, что когда Кегва Саная пересаживал саженец на новое место, он приживался прекрасно), Хинту поумнел, остепенился, видишь». «Но ведь Хинту постарше Муха», — старалась утешить себя мать: «Хинту занялся торговлей, — рассказывала Пуху, — нынче весной дом начинает строить».

* * *

За какое дело мне было взяться? Из Акрамары я приехал без всякого документа, и в школу меня, конечно, не приняли. Кегва Саная строил дом в квартале Саданиа, и я пошел к нему подсобником. Работа, поначалу легкая, по мере того, как вырастали стены, становилась все труднее. Когда были возведены стены второго этажа, я, как обычно, махнул рукой — перестал помогать отчиму, надоело, и заявил, что собираюсь пойти на производство. «Как хочешь, — сказал Кегва, — я тебе мешать не стану».

По вечерам, после трудового дня, Кегва Саная разговаривал с матерью. «Так оно лучше будет, производство — это люди, общается ребенок с людьми. Работать на производстве — не то, что подсобником у мастера быть, — подбадривал мать старый каменщик, — ты не беспокойся, повзрослел он, возьмет ся нынче за дело».

Коля Чаганова отвел меня в укирский автогараж, познакомил с завгаром, попросил приискать мне какую-нибудь работу. Меня приняли, зарплату, однако,

назначили низкую, порой, правда, шоферы кой-чего подбрасывали, но работа нисколько не привлекала. Ни работа, ни люди. Постепенно в гараже это и дела у меня становилось все меньше. Я приходил в гараж, садился у входа, нахлобучив кепку с длинным козырьком по самые глаза, и разглядывал суетившихся во дворе людей — совсем как беззаботные парни из какого-нибудь американского боевика разглядывают прохожих. Школу водителей я все же окончил, получил права, только на что они могли пригодиться. В те времена нужна была изрядная сумма, чтобы устроиться водителем. Призовут в армию, тогда и пригодится», — говорил дядя Джоко.

Весной следующего года я написал заявление и ушел с работы. Сколько их у меня написано за время моей жизни, заявлений с просьбой об освобождении от работы! «Прошу освободить», «прошу освободить»... и еще: «прошу предоставить мне полагающийся очередной отпуск»...

— Вот видишь, сынок, отпуск тебе полагается, а все равно просить должен, так оно! — сказал мне как-то начальник строительного участка. — Не так обстоят дела, как тебе кажется, иначе зачем отпуск кланчишь, ступай себе на все четыре стороны, твоя воля.

И вот я нигде не работаю, сижу с Гучи Саданиа и смотрю на пруд в середине сада — словно драгоценный камень в оправе. Стоит позднее лето. С высокого тополя летят в пруд желтые листья. Маленький ручей, впадающий в пруд, слегка искажает отражение в водном зеркале, колеблются листья, раскачиваются, плывут едва заметно. Одни — желтоватые, другие все еще зеленые, третьи кажутся бесцветными, четвертые — бурые, их края чуть подвернуты кверху, и они напоминают игрушечные кораблики; воображение перевоплощает кораблики в корабли, пруд — в залив бескрайнего моря. Так чудится мне, ясно, не Гучи Саданиа — Гучи во все глаза смотрит на скамью по ту сторону пруда, где о чем-то разговаривают мужчина и женщина. Мужчина кладет руку на плечо женщины, женщина вздрагивает, испуганно озирается по сторонам, отстраняет его руку.

Наша сторона — тeneвая, их — залита солнцем,

почему они выбрали именно ее, непонятно. Тщетная попытка обнять подругу сменяется оживленной беседой; лицо мужчины принимает деловитое выражение, будто он случайно коснулся рукой ее плеча. Они разговаривают о чем-то, быть может, действительно важном. «Пойдем», — говорю я Гучи. Он неожиданно соглашается, словно только того и ждал. Гучи был старше меня лет на десять, однако охотно со мной общался. Мы вместе ходили в кино, играли в футбол, в карты, но не помню, чтобы он заговорил со мной о той, которую любил.

Гучи Саданиа был в разводе с женой, но ходили слухи, что помирился «с той любвеобильной особой, которая разрушила добропорядочную семью». У Гучи было от нее двое детей — девочка и мальчик; суд, насколько мне известно, вынес решение оставить обоих матери, говорили еще, что мать не разрешает отцу их навещать.

А все началось так: Эрасто Чкониа хоронил старушку-мать. День был субботний, народу собралось предостаточно. Жужжал поминальный стол. Женщины молча поднимали небольшие стаканы, подносили к губам, отпивали глоток и ставили обратно на стол. А Зани Шанава стояла со своими родичами у забора. Гучи Саданиа показали Зани (в Мегрелии существует обычай знакомить мужчину и женщину в дни траура). Гучи Саданиа стоял с папиросой в руке, они издали увидели друг друга, и на этом вся церемония окончилась. Потом Саданиа послал к Шанава человека; поначалу родители девушки задрали нос, но Джоко Саданиа им напомнил, где живет Гучи, и они перестали артачиться. На третий день после свадьбы я помогал разбирать брезентовый навес, под которым был накрыт свадебный стол. Не прошло и недели, как Зани Шанава сидела у нас и весело болтала. Она была мне почти ровесницей. Бывало, зайдет домой Кегва Саная, погреет руки у камина, подбросит дров и выйдет. Погоды стояли ненастные, дождь лил не переставая. Через несколько дней Зани снова зашла к нам. «Гучи пошел к врачу», — сообщила она. «А что с ним случилось?» — спросила мать. «Не знаю». Ут-

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...

ром я случайно услышал слова Кегвы Саная: «Не получится у них жизнь». Отчим просыпался на заре, и они с матерью обыкновенно вполголоса разговаривали о долгах, о хлебе, обо мне и меньших моих братьях и сестрах, а в то утро он сказал: «Не получится у них жизнь», и я невольно стал вспоминать, кто побывал у нас накануне, и догадался, что слова Кегвы касались Зани и Гучи.

Помню, однажды я зашел к Саданиа, у них были гости. Зани Шанава случайно оказалась рядом с каким-то молодым человеком. Гучи это было неприятно, он ревновал, не одному мне это показалось, наверное, потому и сказал Кегва Саная, что не получится у них жизнь. Молодой гость пел:

«Такого цвета луна сегодня, увы, меня, горемычного, возненавидит, верно, любимая!..»

Мы с Джоко Саданиа, проводив гостей, вернулись обратно к Гучи, сидели у него довольно долго и выпили изрядно. Зани Шанава заснула. Джоко поучал Гучи, читал ему наставления. В камине горел огонь, пламя вздымалось кверху и опускалось вниз, утихало. В народе говорят: доброму слову даже огонь радуется, когда с угольями разговариваешь, они постепенно разжигаются. «Зани молода, пускай спит... Скоро снег пойдет, наверное, — говорил Джоко. — Тело чует... А ты, Миха, хороший парень, потому что Кегву любишь». Как-то по-отечески, тепло разговаривал со мной в ту ночь Джоко Саданиа, и я подумал, что жить на свете стоит. Говорили, что в Укири со дня на день должно начаться большое строительство; я обещал матери устроиться там, восстановиться в вечерней школе и, кто знает, быть может, когда-нибудь закончить университет. «Посмотрим», — отвечала мать, а Кегва Саная, стоило мне заговорить о чем-нибудь, приносил стул, садился рядом и весь обращал во внимание. Он мне верил и слушал искренне, обрадованно сообщал утром Коле Чаганава, что-де Миха сказал так-то и так-то. Но, увы, старик ошибался. Я говорил одно, а делал другое. Ничего не получалось, слова расходились с делом, а отчим все равно мне верил.

...Гучи Саданиа ходил мрачный, как туча. «Что это с ним стряслось», — удивлялся квартал, а потом

Зани Шанава увидели в чьем-то «москвиче», и пошли пересуды. История эта даже Ануцу Саданиа заставила позабыть. Ануца против Зани — агнец божий таково было всеобщее мнение. У Ануцы мужа не было, ей и карты в руки, а у этой семья и дети. Помню, Зани уехала в Ткаию, к родным. Гучи говорил, что они развелись, но не прошло и двух недель, как они снова были вместе. В конце концов муж с женой развелись на самом деле, Зани Шанава сняла комнату на нашей улице и на виду у всех занималась тем, чем не следовало заниматься. Гучи Саданиа ходил, как в воду опущенный; быть может, в тот день, когда мы наблюдали пару на солнечной стороне пруда, Гучи думал о своей жене.

При необходимости Гучи Саданиа троих, а то и четверых здоровых парней мог одолеть, а перед маленькой, слабой женой становился беспомощным и жалким и несмотря ни на что готов был в любую минуту помириться, если бы того пожелала Зани. Она это знала и свысока на него смотрела. Она смотрела на жизнь в квартале Саданиа с высоты своего родного холма Конариа. Саданиа торговали, пили, обрабатывали землю; Джоко Саданиа возился с изгородью; Зани Шанава прихорашивалась перед зеркалом, вела себя так, словно из-за Гучи была обижена на всех жителей квартала, считала их даже виновниками неудачного своего замужества, будто кто-нибудь из Саданиа ее к тому принуждал. Она, правда, была моложе Гучи, но ведь знала об этом до замужества. Кегва Саная-то заметил через несколько дней после свадьбы, что совместная жизнь у них не получится, что же до меня — один вид Гучи начисто отбил у меня охоту когда-нибудь жениться. Теперь мне уже не было обидно, что братья, которые жили на горе Конариа, оставались холостяками. Четыре брата жили в огромном доме, в просторной усадьбе. Говорили, что если сто всадников приезжали к ним в гости, их принимали, угощали, не выходя за пределы усадьбы. Потому удивлялись, что они не женятся; парни были молодые, красивые. С их двора виднелось большое кладбище Конариа, но в какой связи это могло находиться

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...

с их судьбой? Тысячи «почему» приходили мне в голову: почему не женятся Конариа, почему у меня нет отца, почему отчим никогда на меня не сердится, почему мы живем беднее всех остальных, когда отчиму дух перевести некогда, почему так происходит — иные работают, как могут, из кожи вон не лезут, трудятся и отдыхают, а живут в довольстве и считаются людьми вполне состоятельными. Кегва Саная работал дено и ночью, не разгибая спины, но ни о каком благосостоянии и речи быть не могло. Возьмем, к примеру, нашего соседа Иво Фаниа, он рукой не шевельнет, никогда ни о чем заботиться не станет, сидит, уткнувшись носом в книги, играет в шахматы или нарды, на какие средства он живет, одному богу известно — ни поля у него, ни сада, нигде он не работает и не работал — обижен на что-то и не хочет, но всегда одет чисто, аккуратно и среди соседей не последний в горе ли, на пиру ли. Почему? Почему так устроена жизнь? Тысячи мыслей рождались в голове. Была пора созревания — весна тела, пора пробуждения, пора прозрения. Мысли подернуты туманной поволокой. Утренним туманом окутаны окрестности, чего-то хочется, но точно не знаешь, чего именно! В эту пору нравятся тысячи девушек, тысячи глаз и губ, и про кого бы ни сказали — вот тебе, Миха, эта маленькая девушка, она отныне твоя жена, и вы будете вместе, — ты не сможешь отказаться, настолько любишь все и вся, настолько возбужден. Только бы разделить с кем-нибудь свое чувство, неважно с кем, это не имеет никакого значения, ты на все согласен... И Зани Шанава, не раздумывая, выходит замуж за Гучи Саданиа, только раз увидев его; она чего-то хочет, жаждет чего-то, она уже раздета донага и одной ногой ступила в речную воду, дрожь пробирает тело, но все равно, она идет вперед, чтобы укротить жгучее желание, и теперь уже не выберешься из реки, не искупавшись; может, откуда-то, из скрытого от глаз места за тобой наблюдают, лучше войти в воду самой, чем ждать, чтоб тебя затащили, и она входит в реку и утоляет жажду. Потом выходишь из реки, но тело уже привычно к холоду, сноваходишь в воду, в деревне лето, время идет, туман постепенно рассеивается, светлеют окрестности, с берегов Синцы уже видны

заснеженные хребты Кавказских гор, глаза и мысли бегут вдаль, только на этот раз мысли ясны, и осознаешь, что был так нетерпелив, столь опрометчиво принял решение, и ищешь спасения, оправдательной причины, и, коль скоро ее не находишь, ни к кому не становишься более равнодушным, как к человеку, который тебя боготворит. И Зани Шанава развелась с Гучи Саданиа...

...Иво Фаниа совал мне в руки очередную книгу, предлагая ее прочесть, сам пододвигался греться к затухающему камину (дров у него всегда не хватало, но, помню, те, что имелись, были тщательно напилены и наколоты). «Не кончается эта проклятая зима», — говорил он. Я читал книгу:

Ветер осени сильный, бескрайний,
С воем треплет седые волосы!

Иво Фаниа плакал. Небольшой кувшин вина стоял на столе, мы пили из маленьких стаканов медленно и долго.

«...Часто мысли высовывают голову из темноты и спрашивают: почему ты убил нас? — Иво Фаниа всхлипывал. — Не читай больше, не надо», — он не доканчивал фразы, не мог выразить свои чувства. У меня постепенно стало потребностью заходить к соседу. Иво не любил напиваться. Мы попивали слабое вино и читали стихи, рассказы, отрывки из романов. Иво выбирал такие отрывки — слезы наворачивались на глаза. «Ты станешь большим человеком и меня позабудешь!» — сказал он мне как-то, поднялся и, помню, дал мне прочесть следующие строки какого-то писателя: «Каждое утро я встаю и после скромного завтрака сажусь за свой письменный стол, что-то пишу, пишу книгу, но вот проходит третья неделя, а я не могу ответить своему двоюродному брату, который предупредил, чтобы я тотчас же по получении письма ему написал...»

Порой Иво снимал с полки шахматы, и мы сидели играть. Я выигрывал. Это его огорчало, но он старался не подавать вида; однажды дело дошло до того, что он мне подарил их, и когда я играл с кем-

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...

нибудь, ему только и хотелось, что моей победы. Из домашних животных была у него коза, она ^{домашняя} ~~домашняя~~ на пол-литра или немногим больше, или ^{немногом} ~~немногом~~ меньше, неважно, — коза пропала. Искали мы ее, искали до ночи, только впустую. Иво сильно расстроился, с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Один из соседей спросил, не его ли Иво подозревает... «Да что ты! — ответил Иво. — Как ты мог подумать», — и больше не искал козу, как будто нашел ее. Пропажа животного больно меня огорчила, и я написал стихотворение, свое первое стихотворение.

* * *

Джани Хантуриа окончил среднюю школу, и его повезли в Тбилиси определять в вуз. Свидетелем тому я стал случайно — однажды вечером Иво Фаниа послал меня на вокзал за водкой для гостя. На путях стоял тбилисский поезд. И я увидел Хантуриа, его родителей и близких. С двумя бутылками под мышкой я стоял перед ними, как побитый: «Что ты творишь, Миха, сынок, — упрекала меня мать Джани и, обернувшись к своим, прибавила: — А ведь какой-то был талантливый мальчик, — и опять ко мне, — не смог окончить школу, да? — «Не смог», — ответил я. Джани меня расцеловал. С тем мы и расстались.

Гость Иво Фаниа оказался укирцем, старым педагогом, знатоком литературы. «Кто тебе грузинский язык преподавал?» — спросил он. Я ответил. «А русский?» Я помедлил с ответом, и Иво Фаниа сказал: «Сдается мне, Миха его не помнит». Гость не стал задавать больше вопросов, он с хозяином долго беседовал о делах мирских, о жизни, людях, литературе. «По мне, — заметил Иво Фаниа, — стихи превыше всего, — взял со стола сборник стихотворений Акакия Церетели и протянул его мне, — ну-ка, будь другом, прочитай, как ты умеешь, — и я прочел:

«Я слышал, будто камышовый стебель
вырос на могиле сироты...».

Я кончил читать, наступила необыкновенная тишина. «У Миха тоже нет отца», — сказал Иво, и я невольно вспомнил Окуми и его окрестности, виноградную лозу, вьющуюся по стволу вяза, циновку, растеленную на траве в тени, вечерний сумрак и Коцо

Тутариа, идущего по полю... Помню, в тот вечер погас свет, и Иво Фаниа кого-то выматерил, велел мне открыть дверцу печки, и при свете огня я продолжал читать отрывок из какого-то романа.

«Так-то, — сказал гость, — когда знаешь вещь наизусть, свет не нужен». Уходя, он пригласил меня к себе домой. Иво, говорит, покажет тебе, где я живу. На второй или третий день я пошел к нему в гости. Весь день он заставлял меня укладывать книги (библиотеку свою разбирал). Никогда прежде я не видел такого количества книг; хозяин торопил, перелистать книгу и то не давал возможности, и взять с собой на прочтение ничего не дал. «Он так умеет, — объяснил Иво Фаниа, — не знаком с тобой и не доверяет до поры». Целый месяц прошел, пока он одолжил мне книгу. Между тем Иво отвел меня к своему знакомому, начальнику авторемонтной конторы села Джварзени, километрах в двадцати от Укири; в ту пору там должны были заложить фундамент огромного сооружения. У меня были водительские права; начальник конторы хорошо нас принял. «Пусть поработает, дел у нас по горло; кажется, и вечернюю школу здесь открыть собираются». «Именно так я и слышал, — отвечал Иво Фаниа, — потому и побеспокоил, он должен учиться и работать, нуждаются они крайне. Буду на тебя надеяться».

Кое-как за год я окончил вечернюю школу, и тут меня призвали на военную службу. Бедняжка моя мать трижды повернула меня слева направо, — возвращайся, мол, здоров и невредим, — благословила, и я отправился по долгой, совершенно незнакомой мне дороге в Россию.



Виолетта ГАСПАРИШВИЛИ

БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ

ЗАМЕТКИ ИНСПЕКТО-
РА МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРУ-
ЗИНСКОЙ ССР

ПРОВОДИМАЯ в наши дни реформа средней общеобразовательной профессиональной школы повысила требования к литературному образованию учащихся. И это не удивительно, ибо литература как учебный предмет осуществляет активное влияние на идейно-политический и нравственный облик учащихся, уровни литературы, более чем другие учебные дисциплины, несут в себе широчайшие возможности «человекостроительства», воспитания молодых граждан Советского государства в соответствии с потребностями, выдвигаемыми действительностью, нашим сложным и прекрасным временем. В широкой, формирующей нового человека сущности, в критериях большого общегосударственного и общекультурного дела рассматривают наш предмет партия и правительство. Решения партийных съездов и другие идеологические документы играют неоценимую роль в совершенствовании всей системы обучения, в том числе и школьного литературного образования.

Не могу не обратиться к следующим строчкам документа: «Важнейшая задача — значительное улучшение художественного обра-

зования и эстетического воспитания учащихся. Необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы».

Ясно, что взят точный курс на единство идейно-политического, нравственно-эстетического и трудового воспитания.

В общей системе литературного образования в школе значительное место занимают олимпиады. Они проводятся в республике ежегодно и имеют целью активизацию познавательных интересов учащихся, развитие их творческих данных, стимулирование литературной деятельности.

В соответствии с существующим Положением они проходят в четыре тура. Характерная особенность каждого последующего тура — возрастающая сложность заданий, более высокий уровень требований, предъявляемых к участникам. Если темы I и II туров вырастают обычно из программных произведений, задания III и IV туров рассчитаны на более обширный, выходящий за пределы школьной программы багаж знаний; формулировки тем обращены к материалам внеклассного чтения, смежных искусств, предусматривают общее и литературное развитие учащихся, их эмоциональную отзывчивость.

Участники зонального и республиканского туров должны иметь хорошую литературную и языковую подготовку, разбираться в живописи, музыке, быть в курсе публикаций прессы, периодических изданий, владеть навыками оценки литературных явлений, переноса знаний, образно и доказательно излагать свои мысли.

Темы подбираются с учетом характера литературной одаренности учащихся: способности художественно переосмыслить действительность, склонности к публицистическому оформлению материала, критическому анализу явлений жизни, искусства.

Каждый литературно одаренный ребенок должен чувствовать, что привлекают его к тому или иному виду учебной деятельности в его интересах, с тем чтобы помочь ему в творческом росте, развитии способностей; причем совершенно очевидно, что ощутимые результаты возможны лишь при условии систематичности, продуманности руководства, учете возрастных и личностных качеств детей, живом, горячем, заинтересованном внимании и такте воспитателя.

Наряду с задачами стимулирования литературной дея-

тельности учащихся олимпиада призвана побуждать преподавателей-словесников к активной, целенаправленной работе с учениками, проявляющими творческие возможности и интерес к литературе и искусству, к изысканию наиболее эффективных ее форм: проведению факультативных и кружковых занятий, разнообразных внеклассных мероприятий, в том числе и олимпиад.

Анализ олимпиадных работ дал представление о нравственном облике нашей молодежи, светлом и чистом мире истинно человеческих мыслей, мечтаний, о чувстве ответственности за судьбы мира, планеты, за свою судьбу.

Главное, что бросается в глаза при знакомстве с сочинениями учащихся, — это начитанность, хорошее литературное развитие школьников, умение большинства из них правильно осмыслить формулировки темы, отобрать необходимый для их раскрытия материал.

Не удивительно, что молодежь волнуют вопросы мира, интернациональной дружбы, коммунистического строительства на всех участках народного хозяйства, правильного выбора жизненного пути. Подавляющее большинство учеников отдало предпочтение теме «Мы не хотим, чтобы кровью и огнем залить весь мир война опять сумела», и это тоже понятно: предотвращение войны — самая значительная из глобальных проблем современности, на сохранение мира направлены усилия всей передовой общественности планеты. Кроме того, для многих школьников война — не только история государства, это история семьи, история родных и близких — тема глубокого личного. Среди дорогих реликвий в каждом доме хранятся воинские билеты отцов и дедов, их ордена и медали.

Дети знают цену победе, поэтому в местоимении «мы» названия темы объединяются для них и пережитое отцами, и их личное отношение, и позиция государства, всегда протягивающего руку помощи тем, кого притеснял произвол сильных.

Образ советского солдата, заслонившего мир своей грудью, близок и дорог молодым. Ребята вспоминают Алешу из Пловдива — воина-освободителя, спасшего немецкую девочку в Берлине; бойцов интербригад, сражавшихся с фашистами в Испании; называют имена национального героя Италии Форе Мосулловичи (нашего земляка, сражавшегося и похороненного в Италии), Исайи Берикашвили — бойца горно-стрелковой дивизии, погибшего в Багратионском ущелье, у подножия Эльбру-

са, легендарного генерала Лукача, матроса Никонова, заживо сожженного фашистами в Таллине.

Страницы сочинений на тему о войне согреты гуманизмом, гуманизмом активным, действенным, готовностью потребует страна, встать в ряды ее защитников.

В огне атак, в холоде окопов и траншей формировался воинствующий гуманизм отцов; они шли в бой, ненавидя войну, убивали, чтобы приблизить день, когда на земле убивать не будут; и в те «обугленные, израненные» сороковые годы Советская страна спасла человечество от уничтожения.

Ребята гордятся своей Родиной. Сквозь строки сочинений светит любовь к родной стране, радость причастности к большой жизни Отчизны, гордость за ее героическую историю, международный авторитет. Все работы — в основном раздумья о Родине и о себе.

Ученик средней школы № 4 г. Очамчира К. Аболенский приводит слова отца, сказанные им когда-то у могилы Неизвестного солдата: «Огонь солдатских сердец... Он напоминает людям о тех, кто пал за то, чтобы у людей всего мира была Родина. Во многих уголках земли я встречал места, напоминающие мне родные края. Но разве есть вторая Родина? Тот, у кого есть Родина, может считать себя человеком».

Если мерить этой меркой, каждый из авторов сочинений вырастет человеком.

Ряд учеников опирается на литературный материал, причем отбор этого материала свидетельствует о хорошем вкусе, о том, что на уроках преподавателями проводятся беседы по советской литературе, правильно анализируются произведения «батальной прозы» 40-х годов и современной, осмысливающей «сороковые, роковые» с высот сегодняшнего дня, более глубоко и верно.

В сочинениях рассматриваются произведения В. Быкова, Б. Васильева, Г. Бакланова («Навечно девятнадцатилетние»), К. Симонова, С. Орлова, М. Исаковского, А. Твардовского, Р. Рождественского, Е. Евтушенко и других. Реже прибегают ученики к рассказам и повестям В. Богомолова, Ю. Бондарева.

Школьники правильно вычлениют основные идеи произведений, стараются рассмотреть их во всей глубине и многозначности авторской мысли, рассуждают о бесчеловечности войны, о необходимости воспитания личности в гуманистических традициях, об истоках героизма, многомерности и объемности понятия «подвиг».

Так, исследуя страшные своей безысходностью ситуации,

в которые ставит человека война, ученица IX класса Цителдцаройской средней школы Елена Палагута доказывает неслучайный характер мужества героя повести В. Быкова «Сотников»: «В моем представлении Сотников — героическая личность. Он не заслонил грудью амбразуру дзота, не повел самолет на таран вражеской машины, но перед лицом смерти проявил стойкость, силу духа. Люди, присутствовавшие во время казни, восприняли его поведение как подвиг и осудили Рыбака; да и сам Рыбак не видит возможности оправдать себя даже в собственных глазах».

По мнению ученицы, героизм — это умение остаться человеком в бесчеловечных обстоятельствах, мобилизовать все свои силы, нравственные возможности на преодоление страха смерти. И, если из поединка с боязнью за жизнь человек выйдет победителем, значит «станет равным самому себе».

«Что же помогает мобилизовать нравственные возможности? — задает вопрос ученица и сама же отвечает: «Высокая цель, высокий гуманистический идеал. Любовь к родной стране, уважение и любовь к отцу, участнику гражданской войны, воспитавшему в сыне чувство долга, ответственности, — нравственное кредо Сотникова, иронически отвечающего на вопрос фашистов: «Жить хочешь?» — «А что, может помилуете?» Любовь к детям, стремление вырастить из них людей настоящих — жизненная цель Мороза. Смертью своей он учит воспитанников, что и умирать нужно достойно».

На своем уровне, собственными силами ученица подходит к решению проблемы. Она пишет: «Усилия таких людей, как Сотников, лейтенант Петровский, Иван Терешка, решили исход великого испытания, но это испытание слишком бесчеловечно. Я не хочу повторения трагедии сорок первого. Нельзя допустить, чтобы гибли такие прекрасные люди, как Мороз, Сотников, Петровский, Терешка. Но от моего желания, если оно не совпадает с желаниями всех людей страны, ничего не зависит. «Мы не хотим, чтобы кровью и огнем залить весь мир война опять сумела». Когда я говорю «мы», я говорю от имени моего народа и от имени тех, кто любит мой народ и благодарен ему за свое освобождение от тьмы фашизма».

Такой резюмирующий тезис в работе на тему «Мы не хотим войны» вполне правомерен. Правомерен и аспект анализа повести В. Быкова «Сотников».

К достоинствам работы следует отнести правильное прочтение ученицей каждого слова формулировки темы: «Мы не хотим...». За этим «мы» в ее сочинении и сверстники, вся ее

большая страна, и все прогрессивное человечество.

Анализируются произведения о борьбе советского правительства за разрядку напряженности, за мир и благополучие народов.

В этих работах и ненависть к войне, и умение донести до читателя ее «противный человеческому разуму и всей человеческой природе характер», и понимание величия подвига советского народа, спасшего мир в военное лихолетье, и анализ современной международной обстановки, и горячее одобрение политики нашего государства.

Духовный опыт народа подростки анализируют в свете современности и делают правильное заключение: есть ведущая сила в человеческом обществе, которая берет на себя миссию отстоять мир на земле. Это наш социалистический строй, социалистическое содружество стран, связанных единством доброй воли. Молодые люди считают себя духовными наследниками отцов, оправдывая точно найденную поэтическую формулу идейной и нравственной близости: «И главные наши приметы у двух поколений одни».

В этом плане интересно сопоставление стихотворений известного советского поэта Михаила Львова и участницы олимпиады Ирины Пирумовой.

Много лет прошло после окончания войны, но Михаил Львов до сих пор еще несет в себе горькие ее ощущения, боль потерь, тяжелое бремя ответственности перед павшими товарищами и теми, кто вступает в жизнь. Война — болевая точка сердца Михаила Львова, эта боль не утихает, и поэт хочет уберечь от нее молодых:

Мы столько в землю положили,
Мы столько видели всего —
Уже не страшно ничего...
И если против войн борюсь,
Не потому, что их боюсь,
А если даже и боюсь —
Не за себя боюсь — за тех,
Кто нам теперь дороже всех,
Кого пока что век наш нежил
И кто пока еще и не жил,
Кто не рыдал вблизи могил,
Кто никого не хоронил.

От имени тех, «кого пока что век наш нежил», «кто нико-

го не хоронил», выступает ученица IX класса средней школы № 43 г. Тбилиси Ирина Пирумова.

О чем ее стихотворение? О постоянстве живых человеческих чувств, о том, что тревоги и боль старшего поколения поняты молодыми, о прелести бытия, счастье жить и радоваться окружающему, о готовности по первому зову Родины встать в ряды ее защитников. Незамутненный мир мыслей и чувствований юности, окрыленность прекрасными идеалами — серьезное обещание честной и достойной жизни.

Больно...	За будни трудовые,
За вас, ушедших,	За будущих поэтов,
больно...	За чистые рассветы...
За вас, любивших,	Страшно.
больно...	Встанем...
За песни, что не спеты,	За вас, ушедших,
За думы до рассвета,	встанем...
За глупые раздоры,	За вас, живущих,
За прерванные споры	встанем...
больно.	За детскую смешинку,
Страшно...	За желтую кувшинку,
За вас, живущих, страшно...	Чтоб не было нам страшно,
За вас, растущих,	Чтоб не было нам больно...
страшно...	Встанем!
За замки голубые,	

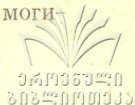
В работе Ирины Пирумовой проза перемежается собственными стихами. Прозаическое повествование несет на себе печать поэтической одаренности девочки. Сразу чувствуется, что это проза поэта. За каждым прочитанным словом выплывает образ во всей рельефности, выпуклости, цветовом наполнении.

Вот как она сама пишет об этом:

В детстве мне чудился мир цветным,
Каждое слово мне чудилось цветом:
Пушкин — оранжевым, синим — Куприн,
Желтым пятном на зеленом — лето.
Помню однажды, как страшно стало;
Черною краской плеснула волна —
Черным восприняла, когда прочтала
Только два слова: «Хатынь», «война»...

...По всей земле оставила война ужасающие беспощадностью следы. Никогда не забыть глаза матери, потерявшей на

фронте пятерых сыновей. Она зажгла вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в тбилисском парке Победы!..



...Потертые джинсы, челка до глаз,
Западной моды пленники,
Ансамбль «Бони М», обязательный джаз —
Это я и мои современники.

Но вы не волнуйтесь:

Полет мечты высок в каждодневной полемике,
На братской могиле живые цветы
От меня и моих современников!
И, если услышим мы звуки набата,
Снимем прически-веники,
Сменим джинсы на форму солдата
Я и мои современники!..

Тема «Везде, где советский живет человек, он Родину славит трудом» — тема труда как сферы приложения физических и духовных сил советского человека — магистральная в современной литературе.

Невозможно привести полный перечень произведений о трудовом энтузиазме советских людей, к которым апеллируют учащиеся. Обращаются они и к материалам прессы, радио, телевизионных программ «Время», «Моамбе», «Документальный экран». Анализируется нравственная сторона производственных отношений, школьники пишут об интернациональном характере нашего общества, гордятся тем, что их «адрес не дом и не улица... адрес — Советский Союз».

Обилие источников, из которых черпают наши учащиеся, казалось, должно было побудить их к поиску более оригинальных форм изложения (репортаж, интервью, очерк, открытое письмо в «Комсомольскую правду» или «Молодежь Грузии»), тем более, что «нет такого литературного жанра, доступного пониманию детей, которого не внедряла бы в духовную жизнь школьника наша педагогика последнего времени» (К. Чуковский).

Тему «О Грузия! Ты вся как вдохновенье» писали многие школьники. Примечательная особенность работ — искренняя любовь к Родине, восхищение ее красотой. Но здесь хотелось бы большей конкретности, этнографических и социальных примет и в особенности имен тех, кто стал гордостью республики. Уместным было бы обращение к истории Грузии, к творчеству грузинских писателей и поэтов. Отсутствие национального колорита — существенный недостаток работ. Эмо-

циональная окрашенность не может заменить содержания: нельзя восхищаться неконкретными горами, морем, абстрактными восходами и закатами.

Формулировка темы, как свидетельствуют отзывы участников олимпиады, не только давала творческий импульс, но и подсказывала выбор жанра.

Наиболее интересная из всех работ о Грузии написана ученицей средней школы № 38 г. Тбилиси Ириной Крестьяевой. К достоинствам ее сочинения следует отнести эпиграф — слова Симона Чиковани, сразу завязывающие повествование, определяющие его стиль и тон. Сочинение — вдохновенное слово о Грузии.

Да, я труба родного города
И быть иным не приучусь.
Живой — я твое слово гордое,
Умру — в твой камень превращусь.

Собственные стихи Ирины отличаются четкостью ритмического рисунка, умением передать подлинные чувства, афористичностью:

Пусть для других сюда дороги нелегки,
Мне измеряются же в песнях, а не метрах.

«Если человек, впервые приехавший в Грузию, спросит меня, где ему побывать прежде всего, я отвечу: «Войдите сюда как в храм... Пройдите по дорогам республики, загляните в самые отдаленные ее уголки: побродите по Боржомскому ущелью, по склонам Шуамта, поживите хоть один день в Пасанаури или Барисахо, посидите в часы заката на склонах Цихисдзири или на пляже Лидзава, окунитесь в воды Палиастоми и тогда... Нет, и тогда вы не составите себе полного представления о Грузии, ибо невозможно понять этот волшебном неповторимый мир, не проникнувшись им, ибо нельзя судить о народе, увидев всего лишь одно его творение, так же как нельзя судить об авторе, прочитав несколько слов из его книги».

Если меня спросят, за что я так горячо люблю Грузию, я отвечу: «Разве можно не любить то, без чего не представляешь своей жизни? Разве можно оставаться равнодушным к тому, что тебя воспитало, что с детства мило твоему сердцу и любо взгляду? Разве можно не замечать всей этой красоты?»

Блуждая по сумрачным пещерам Вардзиа, глядя на сер-

пантинном спускающуюся вниз ленту дороги, проезжая мимо богатых виноградников Колхиды, замешавшись в разноязычную толпу, заполняющую в полдень проспект Руставели, ощущаешь пульс Родины. Приятно сознавать, что и ты тоже частичка всего этого, пусть маленькая, незаметная, но зато незаменимая в бушующем людском потоке; ты — один из всего человечества, и все человечество рядом с тобой».

Анализ сочинений о Грузии убеждает в необходимости усиления работы по литературному краеведению.

Помощниками здесь могут стать Музей дружбы народов, мемориальные музеи, Дворец пионеров, экскурсионно-туристические бюро, Дом пропаганды кино. Думаем, что экскурсии по городу Тбилиси войдут в практику внеклассной работы каждого классного руководителя, так же как изучение истории района, улицы, школы.

Литературоведение Грузии располагает обширным фондом материалов по вопросу русско-грузинских литературных связей, и их нужно активно привлекать в работе с учащимися.

В работах по теме «Литература — учебник жизни» было отродно видеть, что литература действительно стала неотъемлемой частью духовного мира школьников. В сочинениях много интересного, подчас полемического, но главное в том, что, отвечая на заданный вопрос, ребята затрагивали глубокие жизненные проблемы: Я и мир. Чем и как помогает мне литература найти себя и свое место в этом мире? Чему учит меня автор, и кого из авторов выбираю себе в друзья, в наставники? Какие, наконец, требования предъявляю к литературному произведению, прежде чем назову его учебником своей жизни?

Немало было оригинальных, умных, талантливых работ, и среди них — собственные стихи. Может быть, еще несовершенно, шероховатые. Но ценность их в том, что за строкой стихотворения слышен взволнованный голос автора, говорящего о себе и своих современниках. Ценно еще и то, что ребята не боятся овладевать сложной поэтической формой.

Книга — учебник жизни.

Здесь все авторы сочинений единомысленны. Различие, пожалуй, в том, как и чему каждый из писавших на эту тему стремится научиться у книги. И что еще более существенно — у какой книги. Кого он выбирает себе в учителя, в советчики, в наставники, наконец в друзья? Итак, у кого, чему и как мы хотим научиться или невольно учимся?

Ответы часто зависят от степени сложности поиска. Одни

предпочитают узнавать, накапливать с помощью книги информацию и через знания обретать чувство, формировать свои убеждения. Они оспаривают бытующее: литература способна дать рецепты поведения, в книге можно найти формулу жизни. «Нет! Книга может только подсказать, подтолкнуть, формулу своей судьбы мы должны вывести сами» (из сочинения).

Другим нужна модель Человека, готовая модель поведения в жизни. Вырабатывать свои нравственные нормы они могут лишь уже на основе готовых.

И, пожалуй, самый сложный путь к ответу на вопрос, как стать человеком, — это думать вместе с автором. Его предлагает ученица X класса средней школы № 52 г. Тбилиси Наталья Мириманова.

«Я стою на пороге самостоятельной жизни. Грустно и немного страшно. Именно сейчас передо мной, как и перед всеми моими сверстниками, встают вопросы, как жить дальше, к чему стремиться, что любить, что ненавидеть.

Найти ответы на эти вопросы мне помогут книги...

Прекрасные книги стали моими верными друзьями, мудрыми и строгими. Они не дают готовых формул, сухих рецептов. Они учат думать, будят воображение. И в этом заключается огромное значение литературы как могучей силы, формирующей человека».

По окончании проверки и рецензирования работ Министерство просвещения ГССР организовало в помещении средней школы № 43 г. Тбилиси встречу участников зонального тура олимпиады с рецензентами.

Мы тщательно готовили это мероприятие, продумывали все его компоненты, чтобы каждая его часть несла в себе какой-то урок для участников олимпиады.

Присутствовали на встрече сотрудники Министерства просвещения Грузинской ССР, сотрудники кафедр литературы и русского языка Тбилисского государственного университета и Тбилисского государственного педагогического института им. А. С. Пушкина, республиканского и городского институтов усовершенствования учителей, руководители районных и школьных методических объединений словесников, учителя русского языка и литературы и родители учащихся.

Полагаем, что подобные встречи должны стать традиционными. Непосредственное общение с рецензентом даст автору работы гораздо больше, чем самая подробная письменная рецензия. Кроме того, творческие контакты с детьми способ-

ствуют их духовному росту, становятся своеобразной школой мастерства.

Хочется обратить внимание учителей на то обстоятельство, что в работе с учащимися имеет значение каждая мелочь, каждая деталь (оформление зала, пригласительного билета, программы), все должно быть продумано, идейно, художественно, эстетически обусловлено.

Заранее была доведена до участников встречи ее программа, твердо определены места в зале, что с самого же начала мероприятия способствовало его композиционной четкости, облегчило контакты организаторов с аудиторией.

К пригласительным билетам прилагались вкладыши следующего содержания:

«Просим ответить на вопросы:

1. Чем привлекла избранная тема?
2. Как ты оцениваешь свое сочинение? Можно ли было раскрыть тему иначе, что-то добавить?
3. Твое отношение к предложенным темам.
4. Какие темы ты рекомендовал бы для Республиканского тура?

На первые два вопроса просим подготовиться к устному ответу, на 3-й и 4-й — дать письменный ответ, опустить его в зале в ящик для писем. Фамилию указывать не обязательно».

Первые два вопроса помогли развернуть дискуссию во время обсуждения сочинений. Вторые — совершенствовать структуру и содержание мероприятия.

Предложения по вопросу структуры предстоящей Республиканской олимпиады и тематики заданий были самыми разнообразными, порой диаметрально противоположными, и свидетельствовали об активном интересе школьников к новой форме работы с ними.

Благотворный эффект проведенной работы со всей очевидностью раскрылся в IV туре олимпиады. Школьники учли замечания рецензентов, товарищей, увидели, насколько может быть широким диапазон решения заданий, с большей ответственностью готовились к следующему туру.

Республиканский тур олимпиады предложил участникам интересные и непростые темы: «Под алым парусом мечты», «Восславим же женщину-мать!», «Поэт и Время», «Пятилетка и моя Родина», «Лицом к лицу с природой».

Большинство учащихся остановило свой выбор на теме «Под алым парусом мечты». Формулировка ее позволяла са-

ую широкую вариантность истолкования. Предоставленная возможность неоднозначного прочтения темы преследовала дидактическую цель: стимулировать развитие воображения учащихся. Слова названия, как сигнальный огонь на реке, лишь предупреждали: «Не сбейся с курса», а курс был один, конечно, — значение мечты в жизни. Имелась в виду мечта возвышенная, окрыленная, недаром в названии темы парус алей.

Романтика увлекает в любом возрасте, но для молодых это прежде всего — первооснова для выбора своего жизненного пути.

Предполагалось, что особой теплотой и лиризмом будут отмечены сочинения по теме «Восславим же женщину-мать!», что ребята, по просьбе которых тема была включена в задания Республиканского тура, отзовутся на нее охотно и трепетно, тем более, что литература дает богатый материал.

И действительно, школьники стремились показать живой характер самого близкого на земле человека и одновременно рассказать о символическом воплощении матери человеческой. Но нельзя не отметить, что работы по этой теме отличались отсутствием художественной цельности, хотя отдельные фрагменты сочинений исполнены лирического чувства: от гимна, как у ученицы средней школы № 146 г. Тбилиси И. Верецага «Восславим же женщину-мать, жизнь подарившую! Восславим же женщину-мать, жить научившую! Мама — это слово звучит на всех языках почти одинаково и не нуждается в переводе, ибо самым лучшим переводчиком является сердце. Не случайно мы пишем рядом два слова: Мать и Родина. Как большая река начинается с малого ручья, так и любовь к Родине начинается с любви к матери» — до исповеди в другой работе: «О, руки матери моей в ручейках синих жилок, прохладные, когда лоб горит болезнью, сильные, когда у тебя сгорбились плечи, щедрые, когда пересохло горло. О, губы матери, шепчущие вслед «Шени чириме» — твои беды мне. Если я не умею любить тебя, если не оценю того, что сделала ты для меня, зачем я?»

И в то же время со всей очевидностью стало ясно, что темы, где нужно довериться, рассказать о самом интимном, лучше давать в сложившемся коллективе. Может быть, поэтому во многих работах ощущается скованность, обусловленная, вероятно, чисто психологическим фактором — не всем и не всегда расскажешь о том, что очень любишь. Кроме того, о близком и дорогом сказать обычно труднее, боязнь штампа,

неточности, неверных слов приводит к сухости, и даже, когда отважишься на признание в любви, может остаться чувство неудовлетворенности разрывом между тем, что ты чувствуешь и тем, что скажется.

Тема «Поэт и Время» сложна прежде всего тем, что требует от автора определенной культуры поэтического восприятия и умения это восприятие проанализировать, отобрать из огромного моря частных несомненно ценное и самое важное.

Требуется определенный поэтический фундамент, знакомство с лучшими образцами творчества поэтов разных эпох.

Как же решили ребята эту тему?

Прежде всего о самом подходе к ней, о понимании поставленной задачи. Именно здесь проявилась индивидуальность авторов. В одних сочинениях делаются попытки показать роль и назначение поэта в общественной жизни своего времени. В других — развивается мысль в плане психологического анализа личности Поэта: каким автор представляет Поэта, какими качествами он должен обладать, чтобы выдержать суд Времени, «дабы имя его было бессмертно, а творчество нетленно».

В зависимости от задачи, поставленной перед собой, каждый из писавших на эту тему находил свое понимание образа Поэта во Времени. И часто искал себе единомышленника, авторитетного союзника среди поэтов.

В теме «Лицом к лицу с природой» самой большой опасностью было сбиться на прямолинейное ее толкование: вот природа, вот я, наблюдатель. Пришла зима, значит — снег, пришла весна — почки, а лето подоспело, естественно — листочки и так далее.

К сожалению, таких сочинений было немало. Они скорее напоминали дневник по природоведению, где ни лица автора, ни лица природы увидеть и почувствовать не удалось.

А вот сочинение Василия Рамишвили, восьмиклассника из школы № 63 г. Тбилиси, написано в форме лирического очерка.

Здесь нет ни ложного пафоса, ни голословных утверждений, что «природа облагораживает человека», ни призывов. Но, прочитав сочинение, понимаешь, что общение с природой «облагораживает», и чувствуешь, что не только необходимо беречь природу, а невозможно иначе.

В сочинении Рамишвили все предельно конкретизировано, вплоть до имен бабушки, деда и даже кличек домашних животных. Все здесь живет в единой гармонии, взаимосвязи друг с другом, с окружающим миром леса и гор, поля и гу-

рийской деревни. Вот куры, «птицы без полета», которые в Гурии взлетают на ночь высоко на деревья; свиньи, «поджарые и сильные», так не похожие на ленивую Хавронью, живущую у бабушки в средней полосе России. Они уводят свое потомство на несколько дней в горы и возвращаются все, не растеряв ни одного, не заблудившись, но обновленные, точно взяв у дикой природы то единственно необходимое, важное, жизненное, крепкое, чего их неизбежно лишает одомашнивание...

А люди! Неутомимый дедушка с походкой человека, проложившего эту тропу в горах. Переключка крестьян-соседей в поле... Подмеченные автором черточки, штрихи постепенно вырисовывают яркий характер гурийской деревни, природы Западной Грузии. Эти образные штрихи правильно отобраны: каждый из них несет в себе определенную мысль и в то же время окрашен настроением самого автора, прочувствован им.

Школьные сочинения предлагают огромный материал для того, чтобы составить представление о том, каков он, сегодняшней учащийся, каковы его идеалы, с которыми он завтра вступит в мир.

Судя по тому, как органически переплетаются в работах учащихся высокие идеи гражданственности и тот особый поиск смысла жизни, поиск ответов на большие мировоззренческие вопросы, мы видим, как идет процесс становления личности гражданина.

Каждый акт творчества — это в какой-то мере исповедь. За строчками сочинений школьников прямо или косвенно вырисовывались их убеждения и мечты, их оценка действительности и стремление к тому идеалу нравственных качеств и поступков, из которых складывается понятие — Человек.



В НЕБОЛЬШОЙ статье невозможно дать полную оценку поэзии Шота Нишнианидзе. Мы коснемся одного вопроса — мифологически-фольклорных истоков его творчества, видоизменения и своеобразного отражения в нем народных мотивов.

Отношение поэта к корням народного творчества, этому живительному эликсиру литературы и искусства, определяется всегда с точки зрения современности. Обращаясь к прошлому, будь то мифологическая модель или сказочный персонаж, Шота Нишнианидзе преследует цель духовного обновления своего современника, пробуждения в нем благородных, возвышенных идей.

Нишнианидзе — один из первых среди тех, кто в течение последнего десятилетия постоянно дарит читателям грузинской поэзии новые радости и надежды. Критика отмечала, что один из аспектов поэзии Шота Нишнианидзе составляет грузинская мифология. Бесы и черты, лешие и карлики, великаны и ведьмы в его стихотворениях чувствуют себя так же непринужденно, как и в грузинских сказках. Он обладает изумительным видением, и его фантазия ча-

Аполлон ЦАНАВА

КОРНИ— В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

сто поражает неожиданностью увиденного, необычностью изобретенного. Сам поэт говорит о себе так: «Я вышел из грузинской сказки, чтобы нести бремя любви».¹

Или:

Спасибо, великаны, лешие, карлики,
Черти,
безбородые лгуны...
Детство уже прошло, почему не отстаёте от меня
И из сказки в жизнь переходите?

Грузинское народное творчество в широком понимании, его богатейший мифологический пантеон, имеет определенные формы, устоявшиеся национально-культурные модели, и использование их в интересах современности под силу лишь тем, кто наделен недюжинным талантом. Грузинское поэтическое мышление, начиная с Шота Руставели по сегодняшний день, тесно связано с национальными корнями, уходящими в глубочайшие пласты. Именно отсюда берут начало наши богатейшие мифологически-религиозные представления, сказки и культура поэтического слова, хореографическое и музыкальное наследие. Без учета национальных форм и моделей невозможно создание чего-либо ценного.

Парадигма, используемая Шота Нишнианидзе, всегда соответствует идейному замыслу, определяемому современной позицией. Его стихотворения насыщены яркими и неожиданными метафорами, эпитетами и сравнениями.

Поэт, к примеру, хочет выразить идею: умерший дед, обратившись в дуб, является духом Колхиды. В качестве парадигмы он использует культ дерева, уходящий корнями в глубокую старину, и в частности культ дуба как одного из главных тотемов древних грузин (дубу приписывались человеческие разум и действия). Неожиданные и удивительные поэтические видения полностью соответствуют замыслу поэта:

Дедушка, почему ты променял нас на птичек?
Как, каким образом попал ты в лес?
Неужели лес — последняя твоя обитель,
Дух Колхиды, превратившийся в дуб?!

Дуб для поэта — понятие, равнозначное предкам. Это можно понять и как тотем, и как метафору.

¹ Здесь и далее стихи Ш. Нишнианидзе даются в подстрочном переводе.

На берегу Риони, как старцы, стояли вековые дубы.

Я их считал своими предками, и, кажется, они даже гордились этим...

На берегу Риони кто-то с корнями вырвал столетние дубы.

В общем, этот дурак вторично убил и наших предков.

Метафора культа быка в грузинской поэзии наиболее ярко выразилась в творчестве Шота Нишнианидзе.

Божественное происхождение быка, его трудолюбие, преданность хозяину, способность к самопожертвованию ассоциируются у поэта с поэтической деятельностью.

Я—волшебный бык Цикара.

И жертвую собой ради тебя, мое отечество...

Я пришел из сказки для того,

Чтобы преданно служить тебе...

Сколько раз я стоял перед воротами рая

С окровавленной от ярма шеей.

И нет за мной никакой вины,

Кроме таланта беседовать с богом,

И когда меня предадут земле,

Натруженного и уставшего,

Взор мой будет обращен к тебе,

Взор, обласканный ангелами.

В другом стихотворении Шота Нишнианидзе отождествляет себя с благословенным богом-быком, которому господь наказал служить человеку: «Я хочу быть, как бык, выносливым, как бык, терпеливым и сделать для моей маленькой страны столько, сколько может бык».

Бык (вол) как носитель божественных атрибутов (рога — инсигнии луны) почитался грузинами, являлся их божеством.

Проходил я вдоль Риони, в тени лежал бык,

Почитаемый грузинами как древнейшее божество...

На глаза слезы навернулись...

Стоял я, опьяненный гордостью:

Такими же были мой дед, мой воспитатель и мои предки...

Их обнимали ангелы, как фреску вознесения,

Они целовали натруженную шею быка, а на рогах была осень.

Висячий мост над Риони переносит поэта в сказочную страну, где он выстругал волшебный тростник, а потом схватился с юношей («там я боролся с одним юношей, он

не отказал мне в этом»), который оказался Амирани, братом Бадри и Юсупа. Поэту там же приглянулась девушка: «Она доила стадо оленей в горах», но эта девушка оказалась обгинею Дали. И, что главное, в этом сказочном мире юноша-поэт увидел, как птичка-мать зажигала восковые свечи богу за своих птенцов: «Я слушал молитвы птицы и вырос под сенью этого блага». И далее:

По дороге повстречался мне старец;
Улыбнулся и сказал:
«Иди, сынок, и то, что здесь увидел,
Воспой на грузинском языке».

Символика птицы-матери, подобно символике быка, лейт-мотивом проходит через все творчество Шота Нишнианидзе. Вспомним строки из другого стихотворения: «Шорохом, трепетом полнится гнездо все еще теплою весною, и золотые сны птицы-матери, подобно крыльям, покрывают гнездо».

Автору дорога каждая метафора: неожиданные сравнения, мифологические представления, обряды так органически сливаются с внутренним миром поэта, что тут не может идти речь о моде или использовании их ради декора. Сам поэт признается, что поэтической мудростью («мудростью каджей») его наделил Важа Пшавела, взяв с него клятву, что эту мудрость он использует только на благо людей. Поэт обращается к своему учителю грузинского языка:

О, добрый человек, ты виноват,
Почему одобрил мое первое стихотворение?
Почему поставил меня перед Важа Пшавелой,
Как перед бурей слабую птицу,
Теперь он пришел ко мне, дэв шаири,
По плечам бьет меня тяжелой строкой,
В Пшав-Хевсурети возносит высоко (в горы).
И мудростью каджей под клятвой делится со мной.

В другом, написанном в народном стиле стихотворении, отношение поэта к Важа Пшавела сформулировано более отчетливо: «Раскрываю (страницы) великих чужестранцев и вижу в них много соблазна, но только Важа Пшавела зажигает меня — у каждого свой вкус».

В стихотворении «Лиса-лисица, или грузинский пир» автор с помощью греко-грузинских мифологических персонажей дает удивительную пародию на наболевшие вопросы со-

временной действительности, заостря внимание на индивидуально-нравственных аспектах.

Гостеприимная Грузия, страна виноградников, принимает всех. «Мы, грузины... друзей и врагов принимаем у себя». И далее: «Духом поэты и расточительные, все забываем, когда опьянеем».

Поэт примиряет за грузинским столом Ахилла и Гектора («Дружите друг с другом на грузинском пиру»), поскольку тамада — сам Бахус, а виночерпий — лукавый Одиссей. За столом сидят и черти, они пьют вино вместе с ангелами. Здесь же и трус Апшина, и мудрый Миндия. Какой-то усач втихомолку лобзает своего нового начальника. Бездельник и лежебока Нацаркекия затевает ссору с великаном (дэвом), но из уважения к Амирани великан сдерживает себя. А Амирани целует игривый бес. Тем временем к пирующим присоединяется титан насилия Киклоп (сын Полифема). Виночерпий бледнеет.

— Эгей, Одиссей, герой Эллады,
Напрасно стараешься напоить Киклопа.
Возьми кувшинчик — метафору Бахуса,
Больше лукавства, больше аферы!

Многo героев было осмеяно. У Ахилла зачесалась пятка, а одиноко сидящий у камина Амирани не заметил, как черт ущипнул ангела.

И были лезть, грозные взгляды и борьба,
Никогo не оставили без хулы и насмешки.
Только Бахус смеялся от души.
Он был бог — и ничего его не удивляло.

Благородство и доброта Бахуса ассоциируются у Ш. Нишнианидзе с представлением о человечности. Это удивительно емкая парадигма-метафора.

Близнец Гилгамеша и Прометей — Амирани является украшением плеяды «культурных героев» мировой мифологии и эпонимом Грузии. По словам Акакия Церетели, прикованный к Кавказскому хребту Амирани — «это вся Грузия». В стихотворении «Год Амирани» Ш. Нишнианидзе воспевает Амирани — «заступника честных людей».

Привет тебе, новый год, старый ушел, отлетел...
Амирани — сын Дареджан, откуда ты пришел?
Из сказки!..

Ты будешь пахать и сеять, исцелять людей от тысячи недугов

Меч, направленный против злых сил, заступник честных людей — ты, Амирани.

Описывая красоты сердца Грузии — Картли, Шота Нишанидзе совершает удивительный переход к рифмам и ритмам стихотворных версий об Амирани.

Отправились на охоту Амиран и его братья,
Загнали оленя на гору, небес касаются его рога.
Жгучее солнце августа, подобно ястребу, сидит у меня на пальце.

Кто это кричит из-за утеса? — Это башня Цамцуми!
Над башней пролетел орел! — Это дух его...
Это Картли, золотая Картли — царство палаванов!¹
Это солнце, это небо, эта песня — пусть будут ей впрок!

Служить своему народу столь же бескорыстно, как волшебный бык Цикара, — вот поэтическое кредо Шота Нишанидзе. Его ложе не должно иметь ничего общего с ложем разбойника Прокруста, на котором «непокорных рубят, а покорных вытягивают».

Поэт обращается к прошлому, к мифам для того, чтобы выявить корни «родового дерева», которые покоятся в глубочайших недрах земли. «В мифах, в снах корни ищут я: кто я, откуда происхожу? На библейском генеалогическом древе какую ветвь я представляю?» Родина поэта («лозой выписанные равнины и плоскогорья—древнейшая Иберия, этот оригинал Библии») причастна к вечности. Лоза, Бахулия, Бахус-Дионисий (грузинский Агуна) — это метафора-эпитет жизни, возрождения, обновления, бессмертия. Расчленение этого божества и его повторное возрождение в виде виноградной лозы, кувшинов, чанов, колышущейся травы, цветущих деревьев — наиболее распространенная в мире мифологическая модель, в основе которой лежат древнейшие представления о вегетации (цветение и увядание). Поэт предлагает удивительные вариации подобных представлений: «О, лоза, божья душа, божья кровь и тело».

Или:

¹ Палаван — борец, сильный человек.

«Баху, Бааху, Бахуллаа», — звала его няня.

И божественные следы отливали светом.

Он поглощал солнце, как виноградную гроздь, луну сосал
как вымя.

И смешал с глиной все свои желанья.

Распалось тело бога на кувшины и чаны, на глиняные
горшки и сковородки,

На счастье домашнего очага.

Символика лозы, виноградника носит в поэзии Шота Нишнианидзе глобальный характер. Это понятие-метафора равноценно понятию родины: «Картли-Кахети — легенда, Имерети — сказка, Мегрелия — мечта, развевающаяся грива, Гурия же — песня, а Рача — грёза. Все вместе — виноградник, наша святыня». Это дионисово, земное благо, как живое существо, из одного уголка Грузии в другой переносят быки, на лбу у которых урартуская луна (они отмечены божественными инсигниями). Верность быка и дионисово благо создают в поэзии Шота Нишнианидзе определенную систему метафоричности и в известном смысле являются художественным принципом.

О, бык, не сетуй на свою судьбу —
На лбу у тебя урартуская луна.
Бык, позволь мне обнять тебя,
На рогах своих вознес ты солнце и осень,
Иди к Алазани, иди к Риони,
Мы ведем Дионисия, увенчанного венками лозы,
Ведем бога изобилия и радости,
Пусть веселье будет уделом Грузии!

Дионисова доброта — бессмертие виноградной лозы — мощный мотив поэзии Шота Нишнианидзе.

Эгей, Восток и Запад Грузии, большой виноградник богов,
Мать лозы, будь выносливой, как лоза,
Будь бессмертной, как лоза, будь, как лоза, вечной.
Пусть корни, подобно лозе, цветы и радуйся.

Как емки, неожиданны и удивительны строки поэта: «Житие Грузии» плачет, подобно вырубленному винограднику, и видит во сне бесчисленные виноградники».

Как отмечалось в критике, персонажи грузинской мифологии чувствуют себя вольготно в поэзии Шота Нишниани-

дзе. Ему известны специфические функции каждого из них, и он с позиций современности персонифицирует их.

Зависть, вражда, коварство, подхалимство, вероломство, насилие, незаслуженные притязания на лавровые венки, другие человеческие пороки персонифицированы в образах народных демонологических персонажей.

Бесы пригласили поэта на пир («Меня пригласили бесы на пир»), положили у его ног лавровый венок и предупредили: «Если где-нибудь узнаешь нас, молчи — ни звука, даже пикнуть не смей». Поэт не может подчиниться этому требованию, он — неусыпный враг чертей и ведьм и сострадательный друг и товарищ тем, кому не везет в жизни.

Черти с крыльями ангелов совершают немало грязных дел: глухой черт оценивает музыкальный талант, слепой учит таинству видения. Черти с купленными крыльями зачисляются в группу святых.

Я знаком с одним глухим, он судит о музыкантах.
Когда я сказал, что это несправедливо,
Мне напомнили о глухом Бетховене и заставили умолкнуть.
Я знаком и с одним слепым (ты зови его слепым!).
Он же обучает таинству видения.
И раздает лавровые венки.
Когда я сказал, что это несправедливо,
Мне напомнили о слепом Гомере и заставили умолкнуть.
Знаю еще одного — он в большом почете у святых.
— Черт! — крикнул я, и в ответ все захихикали.

Творчество Шота Нишнианидзе изобилует такими исполненными гражданского пафоса стихотворениями. Чего стоит только один небольшой четырехстрочный стих, написанный с болью в сердце, изобличающий зло:

Зная, что укравший верблюда или иголку — все тот же вор,
Похитившего четки бросил он в тюрьму.
Отужинав, перед телеэкраном дремал он, сытый,
Спокойно перебирая тяжелые золотые четки.

У Шота Нишнианидзе мы находим неистощимый запас волнующих, неожиданных, удивительных метафор-сравнений.

Корни самобытности поэта в творческом отношении к сокровищнице народного творчества.

Вспомним, какое неожиданное осмысление получает мо-

тив легенды о Сурамской крепости в одном из его стихотворений:



Какой рок проклял меня, какой дух и сатана,
Как Зураба, в теле моем стих замуровали...
Откуда мне знать, что так меня погубишь!
— Дитя мое, Зураб, как высока стена?
— Горе мне, мама, до колен.
— Я — Сурамская крепость, жестока моя участь,
Мой сын Зураб, подобно сердцу, стонет во мне.

Миф, легенда, сказка нужны Шота Нишнианидзе для создания национального колорита, для непосредственности и естественности стиха. Но поэт так остро переживает прошлое, образы, созданные коллективным опытом народа, так выразительны у него, что под его пером они становятся нашими современниками...

Поэт обращается к языческим ритуалам, мифам и легендам, чтобы противопоставить себя односторонне осмысленной машинной цивилизации, дать почувствовать человеку силу жизни, ее живительные истоки, утвердить могущество человеческого духа.

Героический дух произведений Шота Нишнианидзе, здоровый культ рыцарства, проповедуемый им, — своего рода протест против рационализма, академизма, сковывающего свободную фантазию человека, отрывающего его от родной земли.

В одном из стихотворений поэт говорит: «Я знаю такие леса и горы, где каждый клочок земли заминирован метафорами». Он имеет в виду жемчужины народной мудрости, которые всегда составляют основу выдающихся поэтических творений.



Владимир ЕРЕМЕНКО

ГЛАГОЛ ДЖЕМАЛА ТОПУРИДЗЕ

Я ОЧЕНЬ ОТЧЕТЛИВО
вижу эту картину!
солнечный, знойный
маленькая пыльная площадь
безымянного поселка и трое
людей, сошедшихся на этой
площади, — старик, мужчи-
на и мальчик.

Я не знаю их. Не знаю, куда они шли. Я знаю, что встретились они случайно и что двоих я больше не увижу. Старик шагнет в тень и исчезнет. Мальчика постигнет преобразование: он станет мужчиной, и я не узнаю его лица. Только мужчина продолжит свой путь, взвалив на тяжелые плечи воловий груз жизни.

Я никогда не был в этом поселке. Никогда не видел этих людей. Но я не выдумывал их. Я знаю, что они — невыдуманные. Иначе почему я различаю капельки пота на лице каждого и знаю на ощупь кожу на их скулах?

Говорят, Грин наизусть знал дорогу из Зурбагана в Лисс.

Я наизусть знаю эту площадь. До камушка. До скрипа калитки. До завитка собачьего хвоста.

Я никогда не был в этом поселке. Мне рассказал о нем Джемал Топуридзе.

В шершавой сутолоке московского метро, на скамейке с прилипшей газетой, за

письменным столом спокойным ровным голосом он говорил мне о людях, которые, быть может, будут сопровождать меня всю мою жизнь. Он говорил размеренно, выстраивая простые глаголы — «поднялся», «обернулся», «заплакал», и, слушая его, я никак не мог понять, как он лепит судьбы из такого простого материала (Джемал Топуридзе. Диоскурия — город, затопленный морем. Тбилиси, «Мерани», 1983 г. Перевод с грузинского Александра Златкина).

Герои книги, а каждый из них действительно был героем, хотя и не подозревал об этом, герои книги шли по жизни, не замечая своей тени, не озадачивали себя докучными диалогами с собственной душой, не состязались в раскованности и самоиронии. Они просто шли и вертели планету. И она была маленькая. А они были большие. Большие и сильные. И в сердце у каждого была нежность — хрупкая, как яичная скорлупа. Они никогда не говорили об этом. Потому что были — мужчины. И Джемал Топуридзе тоже не говорил. Никогда.

Зато Энвер умел наказать обидчика, Гогия — закрыть друга от пули, Мурза — украсть девушку, которую полюбил раз и навсегда. А один из них когда-то писал хорошие стихи..

Вот так они жили. Жили и умирали.

Прошедшее время моих глаголов — дань писателю, которому суждено было встать в один ряд со своими героями, а вернее — стать одним из них. И я не стану говорить, что он есть, потому что есть книга. Джемала Топуридзе нет. Есть глаголы Джемала Топуридзе..

Какое неожиданное обаяние у его чистой прозы! Какая абсолютная власть заключена в ее простом языке. Она не будит любопытства, не завораживает сюжетом, она просто **подхватывает** и несет, чтобы вдруг оставить где-то на входе, посредине улицы, одного, растерянного, с острым ощущением потери родного человека.

Крестьянин Тедо (рассказ «Мечта Тедо») — один из самых неброских, самых жизненных героев Джемала Топуридзе. У **Тедо** есть мечта, такая же простая, как и вся его жизнь, — он мечтает однажды побывать в большом городе.

Как часто мировая литература последних полутора столетий представляла читателю провинциала, мечтающего хотя бы раз оказаться в столице! Но Тедо не встает в этот ряд. Его мечта порождена не брожением ума, и причина ее вовсе не в недовольстве жизнью. В его мечте есть что-то удивительно наивное. Такая маленькая, счастливая тайна бывает

только у детей, да еще у чистых по природе мужчин, владеющих ремеслом и видящих счастье жизни в ней самой. Поэтому Тедо без особого сожаления передает сыну отложенные на поездку, и тот отправляется в столицу, просто не желая отстать от друзей. Возвратившись, сын рассказывает ему о своих приключениях. Должно быть, сам Тедо рассказывал бы об этом точно так же, за исключением разве что небольших мелочей, не подобающих зрелому мужчине.

Неожиданная беда осторожно, как бы исподволь, входит в жизнь Тедо. Неизлечимая болезнь разрушает его память. Он забывает имена близких, забывает название виноградного побега, которому год за годом отдавал свой труд. Едва заметные признаки надвигающейся трагедии, ужасные в своей простоте, неожиданно раскрывают величие человека, к которому мы постепенно привыкли относиться немного свысока. Пораженные величием и ясностью его внутреннего мира, мы уже неотлучно сопровождаем его до конца, до последней встречи в коридоре столичной больницы. И его мечта, его истинная мечта — до последней минуты сохранить в памяти имена своих близких — остается нам.

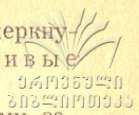
На страницах книги Джемала Топуридзе нет ни одного пространного описания. Но, несмотря на это, читатель скорее видит, чем слышит. Одиночные, точно выверенные детали быта, с кинематографической ясностью расставленные в пространстве произведения, убеждают наше сознание, как голограмма. Но писатель не оставляет нам времени для медитаций. Простой диалог и убедительные поступки героев, всегда диктуемые острой необходимостью, сразу задают упругий и требовательный ритм. Перед героями почти всегда ставится вопрос, от мгновенного решения которого зависит ход всей дальнейшей жизни, — и не только его собственной. Герои Джемала Топуридзе действуют, не размышляя о последствиях выбора.

В такие минуты вся деятельная человеческая красота, красота мужества, красота духа неизбежно вступает в противоречие с физической жизнью героя. Но иначе поступить он не может.

Таков Энвер из рассказа «Неисправимый». Таков Гогиа — герой одноименной новеллы. Для каждого из них несправедливость — не предмет философской оценки, а противоестественное состояние мира. Невыносимое и не имеющее оправдания.

Оба они вовсе не идеалисты, такая категория им вооб-

ще вряд ли известна, и оба они, несмотря на подчеркнутую скудость выразительных средств, потрясающе живы и в жизни, и в смерти.



Но вернемся к началу этих заметок, к тому первому запечатлевшемуся в памяти эпизоду: трое на маленькой пыльной площади безымянного поселка. Откуда это? В книге такого эпизода нет. Почти все герои Джемала Топуридзе живут в городе и умирают на асфальте. Большой современный город окружает их. Почему же все в них так крупно, порой даже чрезмерно крупно? Почему масштаб города не умаляет их поступков? Да потому, что полнота этих характеров — плоть от плоти народной, крестьянской этики. А точнее — ее сердцевина, ее нравственный эпос.

Однако Джемал Топуридзе далек от мифологических реминисценций. Мир его прозы насыщен современными скоростями, а имена героев значатся в адресных книгах городов, наверняка знакомых читателю. Более того, решающая минута их жизни — для окружающих явление неприметное. По существу, это не более чем драма для родных.

Почему же мы так мучительно перечитываем трагические концовки рассказов Джемала Топуридзе? Почему в лице этих случайных, посторонних людей мы теряем необходимых и близких?

Герои Топуридзе сродни рядовым безымянной пехоты — их имена не умещаются в сводки. Но каждый из нас знает, что мог бы быть на их месте. И каждый наедине с собой решает вопрос, а смог бы он так, как они?

В рассказе «Мужчина» двенадцатилетний Датуна в критический момент стреляет в обидчика матери и ранит его. Ранит оскорбительно легко, делая незадачливого ловеласа посмешищем всей деревни. Утром мать дарит мальчику отцовскую куртку. А потом мы прощаемся с Датунной на солнечной деревенской улице, по которой он спешит, очастливленный столь дорогим подарком. Ведь в этой куртке он настоящий мужчина!..

Да, в это утро он уже настоящий мужчина, но разве объяснишь ему, что дело вовсе не в куртке!

Герои Джемала Топуридзе — люди с врожденной потребностью защитить! В этом не столько цель их жизни, сколько ее средство — способ жить.

Часто Джемал Топуридзе подчеркивает значимость своих героев, вынося их имена в названия рассказов. Один из таких рассказов — «Нуцико Эмхвари». Впрочем, рассказ —

не совсем точное определение для небольших по объему вещей писателя. В основе большинства из них лежит романтическое, только мерой отсчета здесь не глава, а абзац. Всего в нескольких строках писатель следовательно уместает многое из прошедшей жизни героя и в результате собственно рассказ — сравнительно узкий временной эпизод, лежащий в основе повествования, получает как бы оптическое увеличение. Сам по себе прием этот давно и прочно используется в литературе, но благодаря ему в рассказах Топуридзе время жизни отдельного человека предстает читателю как время историческое. В этом смысле «Нуцико Эмхвари» — эпос.

Древняя изобразительная традиция, получившая распространение у многих народов мира, предполагала обязательное искажение масштабов. Главный персонаж в ущерб перспективе обычно изображался гораздо крупнее всех остальных. Образ Нуцико Эмхвари, объективно лишенный какой бы то ни было гиперболизации, обладает той же особенностью. Эпизод за эпизодом раскрывается перед нами ее жизнь. Каждый отрывок — абзац. Каждый абзац — хроника времени. Шаг за шагом на глазах читателя вызревает физическая и духовная красота Нуцико. В этих первых строках вся она подернута романтической дымкой. Ребенок. Школьница. Студентка, увлекающаяся поэзией и театром, — какой идиллический и в сущности безымянный портрет! Не спешите. Время эпоса еще не наступило. Еще придут в ее жизнь любовь и война. А потом придет похоронка. А потом наступят долгие дни мира...

«— Странная она, — говорили о Нуцико Эмхвари, а кто-то заметил: — Это она после того парня никак в себя прийти не может. Хватит, кажется, — столько времени прошло. Ненормальная какая-то. — А потом никто уже и не вспоминал ни имени, ни фамилии Нуцико Эмхвари, если заходила о ней речь, говорили: — Та красивая странная женщина, что живет одна».

Почему же в памяти людей исчезло ее имя? Потому что сменились поколения. Потому что ровесники, живые ровесники, ушли дальше в жизнь. А она не смогла. Осталась там, где осталась ее любовь. Нет, она не оплакивала эту любовь, она жила ею, в одиночестве продолжала жизнь этого великого и всегда единственного чувства.

А когда она ушла, все это ушло вместе с нею. И даже цветы в раме — единственная память о любимом человеке,

даже эти цветы, пережившие тех, чье счастье они некогда олицетворяли, пропали, исчезли со стены, прихваченные кем-то из соседей так, заодно, по принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок...

Перед нами снова заурядный эпизод городской хроники. И вновь в центре его человек, непобедимый в своем нравственном величии, непостижимый для обывательского сознания, раздражающий и притягивающий его одновременно.

У героя рассказа «Один» нет имени. Нет, он вовсе не имярек. Многие знают его. Одни сострадают. Другие с сожалением глядят ему вслед. Третьи с откровенным пренебрежением подают ему милостыню водкой. Но каждый в конце концов испытывает чувство вины перед ним. А ведь он всего лишь пьяница, живущий в грязном логове, хранящем обрывки былого уюта, потерявший лицо, лишенный возраста.

У него нет будущего. Только прошлое, полузабытое, мозаичное прошлое проткрывается нам иногда. Сам он мало что помнит. «Знали бы вы, что это за парень был!» — говорит с укором его обидчикам старуха-уборщица в пивной. «Эх, какие у тебя стихи были!» — восхищается, встретив его, знакомый студенческих лет и слышит в ответ: «Какие?». Единственное, что сохраняет его память, — имя женщины — Ирине. Одно из ночных видений героя подсказывает нам, что в этой женщине, вернее в ее уходе, причина его трагедии. Так ли это? А может быть, именно его падение вынудило ее уйти? Разве мало подобных драм происходит вокруг нас? Но чувство вины перед ним передается и нам. Когда-то он писал стихи. Когда-то у него была мать! А сегодня посетители пивной не верят, что ему всего тридцать пять! Когда же было это «когда-то»? И где те, кого он именовал друзьями? Они появляются за несколько строк до конца около его больничной койки, и та женщина, та неизвестная Ирина, не решаясь войти, ждет у дверей больницы... «О, не будьте, не будьте в гуманности лживы! Берегите людей! Берегите, пока они живы!».

Какие старые стихи. Какие старые истины... Но за этой новеллой — новый поворот писательского взгляда. Новый герой. До сих пор Джемал Топуридзе говорил нам о тех, в ком нуждаемся мы. Теперь он говорит о тех, кто нуждается в нас. Вот почему так заразительно чувство вины, немедленно вызревающее в каждом, входящем в круг повествования.

Повесть «Диоскурия — город, затопленный морем» — самая крупная вещь в этой небольшой книге. Психологизм об-

раза героя, который до сих пор составлял подтекст произведений писателя, материализуется здесь во всей своей полноте. Оставаясь верным своим стилевым принципам, Джемал Топуридзе в «Диоскурии...» сводит до минимума авторские ремарки и отдает основное пространство повести диалогу. Диалог внешний, определяющий характер взаимоотношений персонажей, подкрепляется диалогом внутренним, от страницы к странице все полнее утверждающим гуманистическую сущность главного героя.

Темур, так зовут героя повести, в чем-то очень схож с главным действующим лицом рассказа «Один». Но постоянно возникающий рефрен детской памяти, поток воспоминаний, буквально преследующий Темура, раскрывает нам процесс трудного становления человека, буквально с самого детства вынужденного отстаивать свое человеческое достоинство в борьбе с воинствующим бездушием близких. Темур до срока устал в этой борьбе. Признаки возраста сместились в нем. Старик и мальчишка одновременно живут в его душе и тянутся друг к другу, задыхаясь в непримиримом бою.

В этом Темур принципиально отличен от своего двойника. Стремление защитить близких не покидает его даже в минуты тяжелой депрессии. А может быть, именно эта потребность, сознание своей нужности вообще заставляет его жить? Жить во что бы то ни стало. Увы, он может сделать очень немногое. Но он делает все, что может. Как Нуцико Эмхвари, как Гогия и Энвер, он идет до конца!

«И пусть я упаду на пути, только бы упасть на своем пути...». Кто из великих произнес эти простые мужественные слова? Не помню. Но они в равной мере могут быть отнесены и к Джемалу Топуридзе, и к его героям.

Какой путь ожидал писателя?

Он хотел написать сценарий. На его рабочем столе остались главы романа...

В 1978 году, прочитав книгу Мурмана Джгубуриа «Окрестности Одиши» в переводе Леонида Темина, я предложил последнему ответить на ряд вопросов. В то время я считал (да и поныне так считаю), что мы, критики, недостаточно учитываем и изучаем опыт лучших мастеров поэтического перевода, и от этого наши теоретические построения слишком идеальны или попросту даже утопичны.

С Леонидом Теминым нас подружила с начала 70-х годов Грузия — точнее наш общий духовный интерес к ее литературе.

Для Леонида Темина переводы из грузинских поэтов были прежде всего актом творческого наслаждения, актом приобщения к Прекрасному. Притом мы с ним как бы дополняли друг друга, поскольку я лучше знал современную прозу, а Темин — поэзию. Но проблема поэтического перевода меня интересовала всегда, поскольку я и сам, сколько себя помню, люблю переводить стихи.

Словом, Л. Темин ответил на мои вопросы, и маленький «кусочек» из этой нашей беседы я включил в статью «Памятник неизвестному подстрочнику», появившуюся в февральской книжке «Дружбы народов» за 1979 год. Обстоятельства сложились в даль-

Георгий МИТИН

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ

●
БЕСЕДА,
ЗАКАНЧИВАЮЩАЯСЯ
ВОПРОСОМ

нейшем так, что я не предлагал эту беседу с Л. Теминым для печати, но недавно, собираясь по приглашению Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при СП Грузии на «круглый стол» по проблемам перевода грузинской поэзии на русский язык, я перечитал беседу и убедился, что ответы Л. Темина — блестящего переводчика грузинских поэтов Г. Табидзе, В. Габескирия, И. Нонешвили, К. Надирадзе, Ш. Нишнианидзе, М. Джгубуриа, Г. Качахидзе, Р. Амашукели, А. Салуквадзе, Г. Каландадзе и других — интересны и полезны и по сей день. Мне остается лишь сожалеть о том, что последняя страница нашей беседы утеряна, и я даже по памяти не могу восстановить ответ поэта...

Да, за прошедшие годы опубликовано немало интересных (хотя нередко путаных) проблемных статей критиков, но по-прежнему практический опыт лучших мастеров остается в тени.

Пусть эта публикация будет данью памяти поэта, волею судьбы умершего и похороненного в Грузии в 1983 году.

Генрих МИТИН

* * *

Г. Митин. На первых же страницах книги «Окрестности Одиши» я столкнулся с удивительно своеобразным сельским миром поэта Мурмана Джгубуриа. Я чувствую, с какой любовью и пониманием сделан перевод, какая у вас органичная интонация... А ведь в своем собственном творчестве вы — истинный горожанин. Откуда у вас интерес к сельскому миру, да еще грузинскому? Что вообще побудило вас, не читающего по-грузински, обратиться к переводам из современной грузинской поэзии?

Л. Темин. Поэзию не следует делить на сельскую и городскую, поэзия воистину едина и неделима. Что же до интереса к иноязычной поэзии, то разве интерес обязательно предполагает знание чужого языка? Все начинается с интереса к самой Поэзии. Ведь поэт тоже читатель. Но если читателю достаточно уже сделанного, то у поэта возникает желание самому приобщиться к воссозданию прекрасной поэзии на родном языке. А в том, что грузинская поэзия прекрасна, меня издавна убедили классические переводы Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, М. Цветаевой, Н. Тихонова и П. Антокольского. А позднее работы А. Межирова, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы и других могли только подкрепить это убеждение. Главное ведь в том, что их переводы я воспринимал не как переводы, но как чудесные стихи, возросшие на грузинской земле.

Г. М. Выходит, изначально вами двигал интерес к поэзии Грузии и к самой земле такой поэзии, а не к тому или иному, ныне действующему грузинскому поэту?

Л. Т. Именно так: когда в начале 70-х я впервые ехал в Грузию, то прежде всего стремился к встрече с родиной большой поэзии, понятия не имея о том, с кем из поэтов столкнет меня судьба. Мне повезло: первой моей работой стало «Избранное» Виктора Габескирия — признанного мастера, лирика по самой природе дарования.

Г. М. И вы впервые в жизни решились переводить, не зная языка?

Л. Т. Нет, мне случалось переводить с незнакомых языков и до этого, но впервые подстрочники познакомили меня с истинным поэтом, и я почувствовал внутреннюю потребность сделать достоянием русского читателя стихи уже, к сожалению, покойного В. Габескирия. Что же до «решимости», то меня подбодрял огромный опыт всех моих предшественников. Знание языков? Может быть, это покажется дерзостью, но, на мой взгляд, анкетное «владею свободно» — самообман, когда речь идет о поэзии. Во всех известных мне случаях успех или неудача определялись не этим.

Г. М. А вот иногда ссылаются на Б. Пастернака, будто бы сказавшего: «Ах, как бы я еще переводил, если бы знал грузинский!»

Л. Т. Не знаю, как бы тогда звучал Н. Бараташвили, но осмелюсь утверждать, что переводы Б. Пастернака с грузинского ничуть не ниже его же переводов с тех языков, которые он знал (английский, немецкий, например). А разве не бывает так, что поэт знает одни языки, а переводит с других, которыми не владеет? Я, например, за последние восемь лет переводил с английского и испанского, издал три книги грузинских переводов и несть числа моим отдельным грузинским переводам (стихотворения, подборки), но не напечатал ни одного перевода с украинского, хотя Киев — мой родной город, а украинська мова внятна и дорога мне с детства. Кстати, с польского, который тоже знаю, я решил-ся переводить лишь недавно, поездив по стране Словацкого, Тувима, Ружевица...

Г. М. Трудности перевода, относящиеся к языку общения, ничто по сравнению с поэтическими — ведь тут идет синтез разных национальных культур, различных поэтических индивидуальностей...

Л. Т. Да вот беда: не слишком ли часто появляются переводы весьма грамотные, но настолько усредненные, что по ним и поэта от поэта, и разные национальные поэзии друг от друга не отличишь?

Г. М. Майя Борисова в статье «В начале — слово!» («Дни», 1978, № 3) справедливо говорит о том, без чего никак не обойтись в переводческом деле. Это, во-первых, совесть и, во-вторых, хороший подстрочник, а его надо уметь делать и обучать этому умению.

Л. Т. Я совершенно согласен с Майей Борисовой, хотя сам призыв к совести литератора — это тревожный сигнал. Никто не будет взывать к совести токаря, если он не так изготовит деталь — ОТК просто отбракует ее. В нашем деле каждый сам себе ОТК. Вот почему я истолковываю призыв М. Борисовой к нашей совести еще и как подспудный призыв к истинному профессионализму. А ведь иные из нас занимаются переводом, как крестьяне в прошлые века ходили на отхожие промыслы. Для нас это — в корне бессовестно.

Что же касается подстрочника, то мне представляются чистой схоластикой разговоры о том, что-де подстрочник — это «временное зло». Временное ли? За то, что эта «временность» не кончится с XX веком, я могу поручиться. Зло ли? Да, если подстрочник плохой. А с хорошим подстрочником мне лично довелось иметь дело лишь однажды. И это было не случайно: ведь выполнил его известный критик и поэт-переводчик Георгий Маргвелашвили! Вот почему так хочется приветствовать одно — пока уникальное, но очень перспективное начинание — создание в Тбилиси Коллегии по переводу. Одна из основных целей Коллегии — накопление фонда высококвалифицированных подстрочных переводов грузинской поэзии и прозы.

Г. М. Каковы, на ваш взгляд, самые характерные недостатки нынешних подстрочников?

Л. Т. Все недостатки плохого подстрочника перечислить попросту невозможно. Но сводятся они к тому, что, не давая представления о художественных особенностях оригинала, плохой подстрочник искажает и смысл произведения. Бороться же с этим можно только одним путем: надо ехать в страну поэта, знакомиться с самим поэтом...

Г. М. А если поэт не дожидается вас, как это было в случае с Габескирия?

Л. Т. В этом случае мне помогли его семья, друзья. День за днем дочь поэта Цицо и сын Шалва читали мне по-грузински стихи отца, вместе мы творили подстрочник, обсуждая каждое слово и каждый абзац, а вдова — Ольга Игнатьевна — вдруг вспоминала, казалось бы, совсем не литературные детали и житейские подробности, откликнувшиеся позднее в стихе...

Г. М. Вот вы сказали «мы творили подстрочник». Помню, что

Александр Цыбулевский говорил о подстрочнике примерно так: это — проза, но другая, по ней узнают поэта. Вопрос — всегда ли?

Л. Т. Всегда, если поэт — поэт: в самом плохом подстрочнике отразится то, что можно назвать ПРЕДМЕТОМ поэзии. В этом смысле подстрочник — пробный камень для любого стихотворца. Боюсь, что кое-кто из них, даже весьма умелых, не прошел бы в Союз, если бы в Союз принимали по подстрочникам (в том числе с русского на русский!). Ведь подстрочник в отличие от переводчика не может сделать плохого поэта хорошим, зато достоинства поэта покажет.

Г. М. Каким должен быть идеальный подстрочник?

Л. Т. Это — мечта. Я могу назвать некоторые черты, отличающие реальный хороший подстрочник: предельно близкий к тексту перевод, подробная синонимика, идиоматический комментарий, указания на перифразы и аллюзии (литературные и исторические), транскрипция — полная (а не только первой строфы), указания на фонетические особенности и звукозапись оригинала. На такой подстрочник должен иметь право каждый переводчик. Иное дело, что прав без обязанностей не существует...

Г. М. Чем больше узнаешь об оригинале, тем больше возникает обязанностей перед ним. Возможности свободного творчества сужаются.

Л. Т. Беря в руки подстрочник, я уже должен отдавать себе отчет, каков грамматический строй языка оригинала, его фонетические особенности, система стихосложения, иметь представление об истории народа и его литературы, о его обрядах и фольклоре... Но все сведения, как общие, так и продиктованные подстрочником, не только не стесняют, а напротив — дают высшую творческую свободу. Ибо в переводе есть ЧТО, но есть и неограниченные поиски КАК. Пример — классическая русская иконопись, где и сюжеты, и композиция были заданы каноном, т. е. «литературная основа» доски у всех была одинакова, зато индивидуальность мастера проявлялась в чистой живописи.

Г. М. Вы рассказали о случае с творчеством В. Габескирия. А как было у вас в других случаях?

Л. Т. Других было слишком много, чтобы сказать обо всех. А вот с Мурманом Джгубуриа меня как раз и познакомила работа над «Избранным» В. Габескирия. Дело в том, что Мурман почитает себя учеником покойного поэта, он друг его дома, автор стихов и эссе, посвященных ему.

Г. М. А до личного знакомства с М. Джгубуриа вы были уже знакомы с его творчеством?

Л. Т. Я даже не знал, что он пишет стихи. Однако на грузин-

ском языке у него вышло к тому времени пять книг (сейчас их семь). По-русски он тогда еще не напечатал ни строки, хотя переводить его пытались довольно давно. Для меня же все началось с интереса к его личности: напряженный внутренний мир, независимые и всегда интересные суждения о поэзии — грузинской, русской, мировой. Откровенно говоря, меня поразило в нем парадоксальное, на первый взгляд, сочетание высокой интеллигентности с крестьянскими привычками, особенно заметными в городе. Затем мы обменялись переводами: я перевел три его стихотворения, а он — мои и, как мне сказали, отлично. Неудивительно, ведь он как переводчик справился и со стихами И. Бунина, и с «Графом Нулиным»! Таким было начало, а потом началось самое трудное — подлинное вхождение в мир поэта. На это у меня ушло полтора года, а вот самый перевод книги «Окрестности Одиши» отнял в конце концов не более месяца.

Г. М. Выходит, в случае с М. Джгубуриа подстрочники не сыграли решающей роли?

Л. Т. Сыграли! Да такую, что я чуть было вовсе не отказался от книги Джгубуриа. Дело не просто в «плохих» подстрочниках, а в том, что по ним я напрочь не понял своеобразия его поэтического мира, манеру письма. Это пришло позже, когда я поехал по Грузии, ее деревням (между прочим, до Мегрелии так и не доехал, хотя Мурман — истинный мегрел), после того, как я нещадно эксплуатировал Мурмана, заставляя его по нескольку раз читать мне вслух одно и то же стихотворение, объяснять малейшие нюансы... Мне открылась подспудная, а не внешняя динамика, свое «времяисчисление», органическая сокровенность его стиха. Вообще, читая вслух, поэт (если он не испорчен привычкой к эстраде) не выбирает интонацию, а читает так, как ему свойственно писать, — услышать это очень важно? Тогда и в переводах зазвучит его голос.

Г. М. А можно ли, не зная языка, использовать в работе оригинал?

Л. Т. Не только можно, но и нужно. Например, можно ли переводить Маяковского, не имея зримого представления о его «лесенке»? Точно так же нельзя переводить и Джгубуриа, не зная графики его строк, а она весьма своеобразна. Без оригинала, как и без участия самого поэта, невозможно познать все формальное богатство, подлежащее переводу! А богатство у М. Джгубуриа завидное, обогащающее переводчика! Конечно, большинство его форм я знал, да прежде не все из них употреблял, а какие-то и впервые встретил у него. Оцените диапазон: от фольклорных форм колыбельной, заговора, величания до своеобразных метров

и рифмовки в традиционном стихе, а тут же органичный верлибр и вольный стих, традиционный белый стих, и такой, что ты все ждешь разрешающей рифмы, а она не приходит. Он сам переводчик, М. Джгубуриа, и вот уже в совершенно грузинских стихах естественно отозвалась Хо Суан-Хыонг (Вьетнам, XVIII век), а в «Поэме любви» — Федерико Гарсиа Лорка... Грешен, в начале нашего знакомства я перевел сонет Мурмана, посвященный В. Габескирия, соблюдая канон итальянского сонета. Впоследствии оказалось, что это лишь одно стихотворение из цикла, в котором за образец Мурман взял сонет шекспировский. (И теперь я мог бы объяснить почему). Весь цикл я перевел точно, но тот, первый сонет так и остался в нем «белой вороной» — рука не поднялась перепереводить... Оговорюсь: внешнее разнообразие в книге Джгубуриа — проявление внутреннего многоголосого единства, интернациональных обертонов. И мне невольно подумалось: а не скучно ли такому грузинскому поэту листать страницы нашей текущей поэтической продукции с ее однообразно обязательной четырехстрочной решеткой стиха и уныло преобладающим четырехстопным ямбом?!

Г. М. По-моему, преобладание ямба — не особенность текущего момента, а своего рода традиция. Как свидетельствует статистика стиховедения, в XVIII веке ямбом было написано 82% всех произведений русской поэзии, а меньше чем на 50% ямб у нас вообще не согласен. В том, что ямб сегодня частенько выглядит «унылым», как вы сказали, сам метр не виноват. Все в ваших руках! К примеру, не вижу никакой унылости в ямбических строфах из второго стихотворения М. Джгубуриа в цикле «Золотое руно» (сужу по вашему переводу, конечно):

За Имерети есть граница
Незримая: там — край гурийца,
И, право, можно прослезиться

В конце концов,

Увидя этих мест красу ли,
Нечаянно всплугнув косулей,

На пририонскую косу ли
Упав без слов,—

Такая ширь, так многоцветно,
Что стих рождается ответно,
Так много милых и заветных
Есть адресов!

Было бы интересно посмотреть, как соотносится этот отрывок с оригиналом.

Л. Т. А не лучше ли спросить об этом у грузинских читателей?

Г. М. Конечно, но сейчас я могу предложить подстрочник этих трех строф, написанный по моей просьбе критиком и переводчиком Э. Елигулашвили:

Там, за границей Имеретии, — Гурия,
Там такие странные краски,
Что невольно в звуки песни
Подмешиваются светлые слезы радости,



По эту сторону — море, по ту — долина,
На полях пасутся косули (лани),
И виднеется разноцветье окрестностей Кутаиси,
Похожее на шкуру барса.

Какой простор, какие краски,
Как приятно то, что у меня на душе,
И какое обилие
Любимых адресов!

Конечно, это — не тот подстрочник, по которому вы перевели. Однако в этом-то весь смысл моего эксперимента: оказалось, что другой подстрочник тоже подтверждает поэтическую верность вашего перевода оригиналу! Правда, одна деталь меня смутила: четвертые строки в этом стихотворении не рифмуются между собой в оригинале...

Л. Т. Да, для Мурмана Джгубуриа свободные от рифмы строки в строгом по форме стихотворении — черта характерная. И я, естественно, обычно следовал ему. Посмотрите хотя бы одну строфу из восьмого стихотворения цикла «Золотое руно»:

Чем томительно ждать,	Да в море водицу...
Лучше посуетиться:	Капитану же плакать
Вот черпак,	Совсем не годится,
Можно досыта им потрудиться—	Вспомни это, Георгий!
Перелей-ка из моря	

Последняя строка так же свободна от рифмы, как и последние строки двух других строф этого стихотворения. Это строки-обращения, подчеркнутые и объединенные одинаковой структурой и смыслом, а также и отсутствием рифмы, «выпадением» из рифмованного стиха: «Сядь же, Гудза, поплачь!», «Сядь же, Гванджи, поплачь!», «Вспомни это, Георгий!»

В стихотворении же «Такая ширь...» я почувствовал, что без рифмы эти укороченные четвертые строки, ничем «внутренним» между собой не связанные, просто «повиснут» или даже «провалятся» в глазах русского читателя. Поэтому я и рискнул отойти от оригинала, срифмовать их. Точнее объяснить не могу. В поэзии многое ощущается, но далеко не все формулируется. И не все:

формальные особенности оригинала обязательны для перевода, даже если это нельзя обосновать строго логически.

Г. М. В критике часто говорят о том, что охота переводить возникает при встрече поэта с близким, родственным ему поэтом иного языка. Вот почему я был удивлен (и приятно!), когда в упомянутой выше статье М. Борисовой прочел решительное несогласие с этим расхожим мнением. Она говорит: «в своем стиле» разве интересно переводить? В своем я сама напишу. Ей перевод интересен как испытание себя: а вот я на своем языке так смогу?

Л. Т. Я бы **сделал** одну лишь маленькую поправку к высказыванию М. Борисовой: одинаковых-то поэтов не бывает даже в пределах одного языка, если речь идет о поэтах. Стало быть, дело не только в этом. Переводить бывает интересно и то, что естественно ложится на русский (и на любой европейский) стих, — таков В. Габескирия. Не менее интересно переводить и то, что, казалось бы, непереводаемо, — М. Джгубуриа, например. Конечно, для переводчика это задачи разные. В первом случае надо во что бы то ни стало сохранить особенности поэта, а во втором — наоборот: не стирая черт отдаленности поэта, показать близкое в нем. Решение таких разнородных задач и продемонстрирует отличие ремесленника, переводящего всех и вся, от переводчика-творца, поэта.

Г. М. В заключение я позволю себе задать достаточно щекотливый вопрос. Уже по стихам книги «Окрестности Одиши» (разумеется, на русском!), а также из ваших признаний в этой беседе видно, что вы полюбили поэтический мир Мурмана Джгубуриа. Не ошибусь, если скажу: в работе, в процессе перевода вы вдохновлялись верностью поэту. Это вообще — единственно плодотворная этическая установка для поэта переводящего. Но все же: неужели вы совершенно забывали себя, «умерли» в Джгубуриа, отрелись от поэтического самовыражения в его стихах? Разве собранные в книге «Окрестности Одиши» стихи — не ваши общие дети, разве вы отказались бы включить их и в свое «Избранное», т. е. взять на себя и радость, и ответственность за них? Одним словом, разве эта книга — не ваш дом?..



Роксана АХВЕРДЯН

ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ...

●

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ГРУЗИНСКИХ АВТО-
РОВ, ИЗДАННЫЕ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
ДОРЕФОРМЕННОЙ
РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ культура
как составная часть об-
щечеловеческой сокровищни-
цы культурных достижений
слагается из уникальных про-
явлений духовной жизни, ха-
рактера, интеллекта и даже
темперамента народа. На про-
тяжении веков они кристалли-
зуются в замечательные тра-
диции, нравы и обычаи, на-
ходят отражение в создавае-
мых народом литературе, нау-
ке, искусстве, книге...

Н. М. Карамзин как-то ска-
зал: «История ума представ-
ляет две главные эпохи: изоб-
ретение букв и типографий;
все другие были их следстви-
ем». Книги — самые верные
свидетели жизни эпохи. Од-
ной из сторон сближения
культур русского и грузин-
ского народов явилось сот-
рудничество в области кни-
гопечатания и издания худо-
жественной литературы. Ху-
дожественные произведения
грузинских авторов, издан-
ные в дореформенной России
на русском языке, раскрывают
перед нами яркие страницы
дружбы двух братских наро-
дов.

Эта литература, особенно
произведения, изданные в кон-
це XVIII века, сыграли не-
малую роль в идейной подго-
товке породнения Грузии с
Россией и укреплении взаимо-
связей двух народов на пути
к общей цели.

Художественные произведения грузинских авторов, опубликованные на русском языке в дореформенной России, отражали поступательное развитие общественной мысли, сложности и противоречия эпохи. Тот факт, что грузины писали и публиковали книги на русском языке, говорит об их глубокой сопричастности к культурной жизни России и о взаимовлиянии, существовавшем между деятелями русской и грузинской литературы. В сложный, насыщенный глубокими социальными и национальными потрясениями период конца XVIII и первой половины XIX веков эти произведения в основном выражали прогрессивные тенденции и правильную политическую ориентацию в ожесточенной борьбе двух культур царской России. Эта литература несла в себе большей частью идеалы социальной справедливости, гуманизма, дружбы народов. Поэтому она как ценнейший первоисточник истории взаимоотношений двух народов имеет вечный, непреходящий интерес.

Известно, что впервые после Рима грузинская книга была напечатана Арчилем II именно в Москве. Им же было создано и одно из первых произведений грузина на русском языке — стихи в честь знаменитой победы Петра I под Полтавой. Первой книгой, напечатанной грузинами в России на русском языке, была «Азбука грузинская с русским переводом» с приложением молитв, изданная в типографии Петербургской академии наук Х. Гурамишвили в 1737 году. В 1758 году эта книга была переиздана в Москве. Георгиевский трактат 1783 года был отпечатан тотчас же после его подписания в Петербурге в Сенатской типографии, а в 1784 году — в типографии Петербургской академии наук на двух языках, русском и грузинском. В 1796 году также на двух языках в той же типографии был отпечатан манифест по поводу похода генерала В. А. Зубова против Персии на защиту Грузии.

Начало нового, XIX столетия ознаменовалось для Грузии важнейшим историческим поворотом в ее судьбе. Породнение с Россией явилось крупнейшим прогрессивным историческим актом. Грузинский народ, вышедший на широкое поприще международной жизни, в значительно большей степени, чем в предшествующие годы, приобщился к русской и европейской культуре. Развитие грузинской культуры пошло по оптимальному руслу, придавшему ей целеустремленный демократический и освободительный характер.

После присоединения Грузии к России неизмеримо возросли возможности культурного общения между русским и грузинским народами, печатание грузинскими деятелями русских книг стало обычным явлением.

Но чем была обусловлена эта необходимость? Трагическая судьба забросила определенную часть грузин в Россию, где многие из них прочно обосновались. К концу XVIII — началу XIX веков в результате сложившейся политической обстановки грузинские поселения в России частично уже начали утрачивать свой национальный дух, и деятели их вступили в основном на попрание русской культуры. Часть грузин, волею судеб в разное время попавших в Россию, постепенно теряла связи с родиной. Их дети — новое молодое поколение грузин, оторванное от родной национальной почвы, воспитанное в учебных заведениях России, — случалось, не знали родного языка или знали плохо. Россия стала их второй родиной, русский язык — родным языком, и они навсегда связали свою жизнь с Россией. Некоторые из них уже как представители русской интеллигенции стали видными деятелями русской науки и литературы того времени. Вместе с тем другая часть грузин продолжала хранить национальные традиции и связь с Грузией, с грузинскими деятелями. Литературное творчество этих авторов способствовало сближению двух наций. Они внесли неопределимый вклад в историю культурных взаимосвязей двух народов.

Вторая группа авторов, живя в России не столь продолжительное время, не теряла связей с родиной. Зная родной язык, они печатали книги на русском языке с целью ближе познакомить Россию с историей, языком, культурой Грузии. Их близость к передовой русской культуре и непрекращающиеся связи с Грузией обусловили расцвет очага грузинской культуры в России в первой половине XIX века.

Третья группа авторов проживала в Грузии. Они являлись деятелями грузинской культуры, и их русские произведения, изданные в России, представляют собой результат литературных взаимосвязей, взаимовлияния литератур.

Русская литература грузин конца XVIII — начала XIX веков, названная учеными литературой «переходного периода», испытывала на себе несомненное влияние русской литературы, тех литературных направлений и стилей, которые господствовали в то время в России. Во второй половине XVIII века, «века Просвещения», русская литература развивалась в русле позднего классицизма, сентиментализма, в преддверии романтических и реалистических начал литературы XIX века. Русские художественные произведения грузин, печатавшиеся в России в указанную эпоху, также создавались под влиянием этих направлений, течений и стилей.

Одним из первых грузин, начавших печатать свои книги в России на русском языке, был известный деятель грузинской и

русской науки и литературы Дмитрий Павлович Цицианов (Цицишвили) (1721—1777), разносторонний ученый и писатель, истинный человек эпохи Просвещения. Он известен как первый русский инженер-геодезист, автор изданного в 1757 году в типографии Петербургской академии наук фундаментального труда «Краткое математическое изъяснение межевого землемерия». Ученый занимался и переводческой деятельностью, владея многими языками. Совместно с литератором А. Ниловым он издал в переводе с французского на русский язык сочинение Г. Перефикса, епископа Родецкого, бывшего учителя короля Людовика XIV, — «История короля Генриха Великого» в двух частях (Тамбов, 1789 — 1790). Прекрасно владея родным языком, Д. П. Цицианов принимал деятельное участие в издании грузинских книг в типографии московского Крестовоздвиженского монастыря.

Перу Д. П. Цицианова принадлежит также сочинение морально-дидактического характера «Завещание статского советника князя Дмитрия Павловича Цицианова детям своим», изданное сыном его Павлом в 1786 году.

Павел Дмитриевич Цицианов (1754—1806) — видный военный деятель, генерал, главноуправляющий Грузией, был одновременно переводчиком, поэтом и писателем, оставившим после себя ряд художественных произведений. Еще в раннем возрасте он как переводчик был удостоен специальной премии «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». Вначале он переводил совместно с дядей, братом отца — Егором Павловичем. В 1765 году ими была переведена с французского языка и опубликована книга «Экономия жизни человеческой», предполагаемый автор которой — Роберт Додсли. Авторство книги приписывается также графу Честерфильду (Филиппу Дермеру Стенхону). Книга эта пользовалась огромной популярностью, так как представляет собой морально-дидактическую энциклопедию, применимую ко всем случаям жизни, она неоднократно переиздавалась и была переведена на грузинский язык Гайозом-ректором, перевод был опубликован в Тбилиси в 1784 году.

В 1767 году Павел вновь в соавторстве с Е. П. Цициановым перевел с французского и издал книгу И. Г. Пихта «Полевой инженер, или Офицер, по случаю нужды строящий полевое укрепление, с надлежащими изъяснениями, или дополнениями», которая больше является их собственным сочинением, чем переводом. В 1778 году П. Д. Цицианов как знаток военной науки перевел уже самостоятельно произведение Фридриха Великого «Дух кавалера Фоларда из его толкований на Палибиеву историю, предназначенную для знатоков военного искусства», которая была издана лишь

в 1804 году. В 1774 году в Петербургской академии наук был напечатан его перевод с французского «Юлия, или Счастливое раскаяние», который представляет собой переделку с французского сочинения Арно Франсуа де Бакюлара. Перевел он также комедию «Тюркаре, или Кокетка в заблуждении», которая в 1789 — 1790 гг. ставилась на сцене Петербургского театра.

В эти же годы в Петербурге проходила деятельность Семена Егоровича Эгнаташвили (Игнатьева) (1743 — после 1814 г.), известного политического деятеля, одного из сотрудников Московского университета, переводчика коллегии иностранных дел. В 1773 году он в Петербурге издал книгу «Похождение новомодной красавицы Гуланданы и храброго принца Барама», которая была выпущена им под именем Диларгета, секретаря тифлисского. Книга получила высокую оценку критики того времени.

Одним из ярких грузинских мыслителей конца XVIII и начала XIX веков был Александр Дмитриевич Амилахвари (1750—1802) — писатель, историк, публицист и политический деятель, воспитанный на освободительных идеях эпохи французских энциклопедистов, воплотивший их в своих произведениях. Находясь в 1773 году в Москве, он перевел книгу Гильмара Кураса «Сокращенная универсальная история». Это была первая работа А. Амилахвари в России. Вторым произведением, изданным в Петербурге в 1779 году, было автобиографическое сочинение «История георгианская о юноше князе Амилохорове». В книге автор описал свое путешествие в Москву, в то же время это — политический памфлет, направленный против Ираклия II. По просьбе Ираклия II и приказу Екатерины II книга была запрещена и конфискована, а Амилахвари арестован. Но вскоре он бежал и вновь вместе с Александром Багратиони организовал заговор против Ираклия II. Ираклий II подавил мятеж. А. Амилахвари был заключен в Выборгскую тюрьму, где провел 18 лет. До нас дошли его письма, написанные на русском языке и обращенные к Екатерине II и графу Зубову, которые поражают своей смелостью и непреклонностью духа.

В последние годы жизни А. Амилахвари написал интересное сатирическое произведение «В Астрахане (Действие)», которое дошло до нас в рукописи на русском языке. Это драматическое произведение было написано в 1801—1802 годах и представляет собой смелую, полную резкой критики сатиру не только на существующий строй, но и на деспотию всех времен. Автор сатирическими красками рисует и русских, и грузинских царей, он высмеивает всех, в том числе Ираклия II, Павла I и заговорщиков, под-

нявшихся против него. Конечно, подобное произведение не могло быть напечатано в то время и потому осталось в рукописи.

В 1791 году известный грузинский драматург, Давид Джимшеревич Чолокашвили (1735 — после 1809) издал в Петербурге, в типографии Сытина, сочинение «Пean иверских муз, то есть боевые песни Иверии», переложенное в прозе с грузинского на русский язык. Перевод был осуществлен самим автором, прекрасно владевшим русским языком. По жанру это классицистическая ода — восхваление славных русских полководцев и воинов.

В конце XVIII — начале XIX веков драматургия являлась одним из основополагающих видов русской литературы. Она развивалась как в стиле классицизма, так и просветительского реализма и сентиментализма. Одним из ярких представителей русской драматургии конца XVIII века является Николай Николаевич Сандунов (Зандукели) (1766—1832), последователь идей французских просветителей, который в своих произведениях вел непримиримую борьбу против феодального строя, против зла во всех его проявлениях. Вначале он приобрел известность как переводчик с немецкого языка драмы Шиллера «Разбойники» (1793). Он — автор многочисленных драм и комедий.

В свое время пользовались популярностью и переиздавались (в 1802 и 1818 годах) такие пьесы Н. Н. Сандунова, как «Квакеры», «Школа ума и сердца», «Игрок», «Добрые дети», «Благородное дитя», «Друзья нынешнего века» и другие. В то же самое время многие пьесы Н. Сандунова не были опубликованы и поставлены на сцене, такие, например, как «Торжество русского духа», «Капитан Хинхилла» и другие, отличавшиеся своей радикальностью. Наиболее ярким произведением Н. Н. Сандунова является драма «Солдатская школа» (1794), которая, по словам П. Н. Беркова, «явилась высшим достижением русской драматургии последнего десятилетия XVIII века»¹. Главными героями пьесы являются простые крестьяне; автор показывает огромные возможности, заложенные в народных массах, он воплощает не только страдания, но и внутренние силы народа. В пьесе ярко выражены оппозиционные, антикрепостнические настроения передовых слоев русского общества. Пьеса эта была напечатана анонимно.

Наибольшей популярностью пользовалась пьеса Н. Сандунова «Отец семейства» — морально-психологическая сентиментальная драма (1794), которая с большим успехом шла в Москве и Пе-

¹ Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., «Наука», Ленингр. отд., 1977, с. 344.

тербурге. Автор выступает здесь за социальное равноправие, он как продолжатель идей просветителей главным героем делает простого художника, который по своим моральным качествам стоит выше представителей аристократического общества.

В начале XIX века в русском театре возродились такие классицистические жанры, как ода, трагедия. Одним из ярких представителей «псевдоклассицистического» направления в русской драматургии был потомок грузин Александр Николаевич Грузинцев (1779 — год смерти неизвестен). Трагедии А. Н. Грузинцева на античные сюжеты — «Электра и Орест» (1810), «Эдип-царь» (1812), «Ираклиды, или Спасенные Афины» (1815) и другие — пользовались в свое время большим успехом, в них играли прославленные актеры, пьесы эти ставились как в Петербурге, так и в Москве почти до середины XIX века.

А. Н. Грузинцев выступал и как автор эпических поэм. Одна из наиболее известных — «Петриада» (1812) состоит из 10 песен и представляет собой оду, прославляющую жизнь и подвиги Петра I. В жанре оды написана также поэма «Спасенная и победоносная Россия в девятом на десят веке» (1813), посвященная победе в войне с Наполеоном.

В истории русской драматургии до настоящего времени оставалась загадкой личность автора пьесы «Настоящий ревизор» (1836), представляющей собой продолжение пьесы Н. В. Гоголя и поставленной вслед за ней. Нам удалось установить, что автором напечатанной и поставленной одновременно с гоголевской пьесы был князь Дмитрий Иванович Цицианов — полковник, действительный статский советник, чиновник Военной академии министерства внутренних дел, племянник П. Д. Цицианова.

В первые десятилетия XIX века особое развитие в русской литературе получают прозаические и поэтические жанры.

Как поэт в эти годы прославился Е. Г. Чиляев (Чилашвили) (1790—1838) — выдающийся грузинский просветитель, крупный ученый и общественный деятель, один из идейных предшественников декабристов. Он был известным переводчиком с грузинского и французского языков. Свои произведения он издавал под псевдонимом Филомист Феопемтов. В 1813 году в Петербурге в типографии И. Иоаннесова были опубликованы его стихи «Песнь на кончину князя Михаила Ларионовича Кутузова Смоленского». В научной литературе существует мнение, основанное на данных, приводимых в «Русском архиве» (1894 г., кн. 2, с. 598), что Е. Чиляев в 1817 году в Петербурге издал произведение «Чудесное исцеление, или Путешествие к водам Спасителя в село Рай-Семеновское, принадлежащее г. тайному советнику, камергеру и ка-

валеру А. П. Нащокину». Но содержание книги, в которой повествование ведется от лица помещика—уроженца тамошних мест, а также весь ее настрой и мировоззрение автора заставили нас усомниться в том, что ее написал выдающийся просветитель и передовой человек своего времени Е. Г. Чиляев, автор таких известных философских трудов, как «Начертание права природного» (1812) и «Предварительное понятие к познанию природы» (1819).

На русском языке в прозе создавал свои произведения Давид Багратиони (1767—1819), старший сын последнего царя Грузии Георгия XII, выдающийся грузинский просветитель, писатель, поэт, разносторонний ученый, философ и историк. В 1804 году в типографии Петербургской академии наук на русском языке была напечатана книга Д. Багратиони «Новый Ших, или Переписка на персидский вкус любовника с любовницей, живших при подошве Кавказских гор». Произведение с грузинского на русский перевел Сергей Митропольский, известный писатель и переводчик, осуществивший стихотворный перевод трагедии Вольтера «Смерть Цезаря». «Новый Ших» написан в сентиментальном стиле, в форме писем влюбленных друг к другу; произведение проникнуто идеями просветителей, особенно чувствуется влияние Руссо.

Сентиментализм в русской литературе, зародившийся в 60-х годах XVIII века, к концу века и в начале XIX столетия испытывает упадок и разложение. Одним из представителей последнего периода сентиментализма является известный для своего времени писатель Петр Иванович Шаликов (Шаликашвили) (1767 — 1852), творчество которого характеризуется в основном эпигономством и подражательством. Но в творчестве П. И. Шаликова были и прогрессивные мотивы. Он писал во многих жанрах, создал большое количество лирических стихов, басни, статьи по истории литературы, критические статьи и рецензии, прозаические и драматургические произведения, был он также прекрасным переводчиком и известным, талантливым журналистом. В своих сочинениях он освещал важные для тогдашней действительности проблемы, касающиеся философии, литературы, искусства, морали, высказывая ряд прогрессивных идей. Нередко в стихах, повестях, рассказах и драматургических произведениях Шаликова затрагивались вопросы социального неравенства, что было вообще присуще сентименталистскому направлению в первые периоды его развития.

Широкий резонанс получило сочинение Шаликова «Путешествие в Малороссию» (1803), вызвавшее многочисленные отклики. Наибольшей популярностью у современников пользовалось изданное в 1813 году произведение писателя «Историческое изве-

стие о пребывании французов в Москве в 1812 году», а также «Остров Эльба и новый Санхо-Панса», в которых выражается глубокая ненависть к захватнической политике Наполеона. Свой вклад внес П.-И. Шаликов в создание сентименталистской драмы, он создал пьесы «Жан-Депари», «Тартюфида» и другие, которые вошли в сборник «Цветы граций» (1802). «Разговоры в царстве мертвых между великими мужами: Суворовым, Багратиони, Кутузовым и митрополитом Платоном» (1814) — это произведение также направлено против врагов русского народа, против Наполеона. П. И. Шаликова связывали дружеские отношения с А. С. Пушкиным.

Автором книги путешествий, вызывающей интерес и у современного читателя, является грузинский дворянин Рафаил Данибегашвили (Данибегов), который в 1815 году в Москве издал книгу «Путешествие в Индию». В ней автор с большим мастерством описывает дальние страны. По сжатости изложения и меткости языка это произведение во многом напоминает «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. «Путешествие...» Данибегова переведено на многие языки мира.

В 1816 году в Петербурге в типографии Иосифа Иоаннесова была напечатана книга Автандила Биртвеловича Туманишвили (1795—1819) «Описание грузинского города Гории», в которой автор с удивительным мастерством воссоздает историю и очерчивает современное ему положение города с географической, этнографической, статистической, хозяйственной, культурной и других сторон. Книга написана в присущем сентименталистам чувствительном и идиллическом стиле. Трагична судьба молодого писателя, который за связи с руководителями имеретинского восстания 1819 года и свободолюбивый образ мышления был арестован и посажен в Петропавловскую крепость — в Алексеевский рavelин, где содержался в самых тяжелых условиях, в результате чего ослеп. Его лишили чинов и достоинств и сослали в Сибирь, по дороге в ссылку он умер.

Сводный брат Автандила — Михаил Биртвелович Туманишвили (1818 — 1875) — был известным поэтом-романтиком, другом Николоза Бараташвили. Ему принадлежит особая роль в истории русско-грузинских литературных взаимосвязей. В Москве им были напечатаны три прозаических произведения: «Колдун, или Приворотный корень» (1839), «Дешевый стряпчий, или Обнаруженное плутовство» (1839) и «Уар железная лапа, или Живой мертвец-разбойник» (1840), в которых видно стремление автора следовать реалистической гоголевской школе.

Художественные произведения в России в указанный период

на русском языке печатали также Н. Б. Гарсеванишвили, известный публицист и общественный деятель 50-х годов XIX века; плодовитый поэт и прозаик Иосиф Грузинов — «Мелкие стихотворения» (1830), «Были и повести» (1840), «Мечты и звуки» (1842), «Отблески поэзии» (1849), «Записки покойного Якова Васильевича Базлова» (1863, изданы посмертно); общественный деятель и ученый С. С. Лашкарев (Лашкарадзе) — «Путевые заметки» (1858, 1859); работы по литературоведению издавал Н. А. Цертелев (Церетели) — «Опыт собрания старинных малороссийских песен» (1819), «О произведениях древней русской поэзии» (1820), «Опыт общих правил стихотворства» (1820) и другие.

Книги грузинских авторов, изданные в России на русском языке в дореформенный период, внесли свой вклад в развитие русской литературы указанного периода — прозы, поэзии, драматургии, в борьбу прогрессивных идей против сил реакции. Но они не могли не отразить некоторые из противоречий, характеризовавших социально-политическое движение и общественную мысль России, литературную борьбу указанного периода. Тем не менее эта литература в большинстве своем выражала прогрессивные для своего времени идеи, стремилась к развитию передовых взглядов.

По образному выражению А. И. Герцена, печатное наследие является духовным завещанием одного поколения другому, в котором «кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца»¹. Прогрессивные идеи русских произведений грузинских авторов, печатавшиеся в дореформенной России, были подхвачены последующими поколениями в новый период ожесточенной идеологической борьбы второй половины XIX века. И в наше время эти книги не только интересны нам как живой голос, отражение событий отдаленного прошлого, они в то же самое время не перестают быть для нас образцами верного служения идеям добра и справедливости, укрепления дружеского сотрудничества и взаимосвязей между двумя братскими народами.

Проникновенные, страстные слова передовых писателей и мыслителей того времени дошли до нас как живое свидетельство многовековой дружбы грузинского и русского народов.

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т., т. I, М., изд-во АН СССР, 1954, с. 367.



Дилара АЛИЕВА

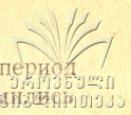
НИЗАМИ И РУСТАВЕЛИ

О роли
и назначении
художественного
слова

XII ВЕК был для Азербайджана и Грузии веком экономического, политического и культурного подъема. Рост торговых городов, развитие ремесел, торговли, укрепление политических и экономических отношений с соседними странами способствовали бурному расцвету обоих государств.

Несмотря на распри, возникавшие время от времени между отдельными феодалами Азербайджана и Грузии в XII веке, грузинский и азербайджанский народы поддерживали тесные экономические, политические и культурные связи. Эти отношения особенно укрепились при царице Тамаре и ширван-шахе Ахситане. В исторических трудах времен царицы Тамары часто упоминается о близких отношениях между царскими дворами двух стран.

Естественно, что политические и экономические связи двух соседних стран способствовали культурному общению их народов. Следствием общего культурного подъема явился расцвет литературы того времени обоих народов, в частности поэзии, давшей мировой цивилизации таких гениальных мастеров, как Низами Гянджеви и Шота Руставели.



Исследователи не без оснований называют этот период эпохой Возрождения. Именно в это время оформились эстетические идеалы и философские взгляды двух гигантов наших литератур, именно в их творчестве нашли подлинное отражение идеи Восточного Ренессанса.

Азербайджанская и грузинская литературы в XII веке развивались в тесной взаимосвязи и взаимодействии. По существу, и поэмы Низами, и «Витязь в барсовой шкуре» Ш. Руставели в известной мере явились олицетворением взаимосвязей двух культур в их наилучшем проявлении в условиях закавказского культурного мира.

В творчестве Низами и Руставели нашли свое яркое выражение мечты и стремления народных масс, их вера в добро и справедливость. Выдающиеся художники, они воплотили в себе прогрессивные черты своего времени.

И Низами, и Руставели поставили в своем творчестве почти идентичные проблемы, волновавшие лучшие умы эпохи, отразили передовые воззрения своего времени по таким вопросам, как система государственного управления, справедливое общественное устройство, свобода личности, моральная чистота, любовь, брак, положение женщины в обществе и др. Идеино-художественное родство Низами и Руставели проявляется прежде всего в их философских, социальных и нравственных воззрениях.

Оба поэта обладали неповторимой творческой индивидуальностью, но это не исключает наличие общих черт в их творчестве, ибо, по справедливому замечанию М. Б. Храпченко, «своеобразие художников слова вовсе не означает, что между ними не существует внутренних связей, что в их произведениях не проявляются общие начала и тенденции. Эти общие тенденции и начала не только существуют, они играют важную роль в литературном процессе, представая в разных формах».

Анализ произведений Низами и Руставели показывает, что в творчестве этих двух великих поэтов встречаются сходные мотивы, перекликающиеся образы, отмечается известная общность в их идейном мире и др., на что неоднократно указывали и азербайджанские, и грузинские исследователи.

Много общего и во взглядах на поэзию, на роль художественного слова в воспитании человека. Прежде всего наши поэты требовали от художественных произведений идейности, точного отражения действительности, глубокого знания предмета, творческой оригинальности и мастерства, способности воздействовать на умы и сердца.

При создании своих произведений и Низами, и Руставели придавали огромное значение слову; они постоянно искали и находили наиболее подходящие, выразительные слова. Естественно, что главным орудием в изображении человеческих характеров, в построении сюжетов, в выражении глубоких философских мыслей у обоих поэтов было поэтическое слово — многозначное, метафорическое и емкое. По мнению наших поэтов, значение слова неизмеримо велико и в создании художественного произведения, и в жизни человека.

Сопоставление взглядов Низами и Руставели на общественную значимость слова и ответственность художника, «властелина слова», перед людьми показало, сколь много в них близкого и родственного, а в некоторых случаях удивительно созвучного. Ибо оба поэта были не только великими художниками слова, впитавшими все прогрессивное и лучшее своей эпохи, но и борцами за счастье людей на земле, за равенство всех наций, за лучшее будущее человечества.

Нет ничего в мире сильнее, почетнее, важнее, чем слово:

Выше (важнее) слова нет ничего,

В нем — все богатство мира,¹

— так определяет Низами значение слова. Низами придает настолько большое значение слову, что во всех поэмах говорит о роли слова в человеческой жизни и о его функции в произведении искусства: по своему назначению слово призвано служить добру. В своей первой поэме «Сокровищница тайн» Низами посвящает этому специальный раздел — «Речь о превосходстве слова». Согласно концепции Низами, слово — необходимая принадлежность человеческого общества; все свои помыслы, все самое сокровенное мы передаем посредством слова. Слово — начало начал, слово — лучшее из всего, что только создано в этом мире.

Ведай: слово — начало, и ведай: слово — конец,

Многомудрое слово всегда почитает мудрец.

И оно всех селений отраднее в этом селенье,

И древней, чем лазурь, и, как небо, забыло о тленье.

В этой же поэме Низами подробно рассматривает назначение слова, сравнивает «мерную речь» с «прозаической речью» и отдает предпочтение поэтическому слову, высоко ценит создателей «мерной речи». По мнению Низами, поэзия — высшая форма словесного мастерства. Стих вознесет

¹ Здесь и далее стихи даются в подстрочном переводе.

имя его создателя до степени владыки потому, что поэты являются властелинами слова.

Конгениальный современник Низами Шота Руставели в прологе «Витязя в барсовой шкуре» дает свое четкое и ясное определение роли художественного слова, назначения поэта — мастера художественного слова. Поэзию он называет «одной из форм мудрости», считает, как и Низами, что в ней заключено божественное начало:

**Поэзия (стихотворство) — изначально одна из сфер мудрости,
Божественное (в ней) следует постигать божественно,
внимающим от нее великая польза.**

Стихотворное слово, по его мнению, должно приносить пользу людям, доставлять им духовное наслаждение. Низами же приравнивает поэтов к пророкам. Умение слагать стихи он считает божественным даром. Высоко ценя поэтов, Низами писал:

**Завеса тайны стихосложения —
одна из теней пророчества.**

**Когда кибрии (великие мужи) выстраивались в ряд,
За пророками следовали поэты.**

Быть поэтом, по определению обоих авторов, — почетное и очень трудное занятие. Руставели требует от поэта большого мастерства и совершенства в этом деле: уметь рифмовать и сочинить несколько стихотворений еще не значит быть поэтом. Как долгий путь и быстрая скачка являются испытанием для коня, широкое поле и ловкий взмах — для игрока в мяч, так и крупное художественное произведение должно стать испытанием для поэта, ибо только оно оставит след на земле после него и обессмертит его имя, — так говорит Шота Руставели.

**Как коня испытывает долгий путь и быстрая скачка,
Игрока в мяч — поле, ловкий взмах и меткий удар,
Точно так же поэта (испытывает) — умение слагать
длинные стихи и умолкать.**

Аналогичную мысль находим и у Низами. Низами требует от сюжета первым долгом «широты». Под широтой же поэт подразумевает, несомненно, разнообразие действий и характеров. По мнению Низами, творцы слова бессмертны, они живут в своих творениях.

**Если проход к легенде (сюжету) узок,
Игра слов затрудняется.**

**Ристалище слова должно быть широким,
Чтобы всадник вдохновения мог скакать умело.**

Или же:

**Не говори «творцы слова умерли»,
Они скрыли головы под водой слов.**



Говоря о «длинном стихе» и «широте», наши поэты имели в виду большие эпические произведения. Среди поэтов того времени наибольшей популярностью пользовались лирические стихи. Низами и Руставели же явились создателями нового жанра — жанра романического эпоса, или стихотворного романа.

В прологе к своей поэме Руставели прямо требует от поэтов создавать произведения крупной формы. Он различает три типа поэтов. К первому принадлежат те, кто сложил два-три стиха, «бледные несвязные фразы». Ко второму он относит авторов незначительных стихов, «неспособных совершенствовать слово, пронзающее сердце». Он уподобляет их молодым охотникам, которые неудачливым луком не могут убить крупного зверя и тянутся к мелкой дичи. К третьему типу поэт относит самого себя и свою задачу определяет кратко и четко:

**Третий вид пригоден для пиров, песнопений,
Для услад забавы, дружеских шуток,
Они приятны нам, если сказаны ясно,
Поэтому не зовут того, кто не может создать
ничего крупного.**

Таким образом, совершенно очевидно, что Руставели так же, как и Низами, ясно определил назначение художественного слова и роль поэта. По его мнению, оно является одним из важнейших средств развития человеческого общества. Низами считает слово великим средством познания человеком самого себя и окружающей действительности. Поэт не имеет права употреблять пустое, лишённое смысла слово, его поэтическая мысль должна облекаться в мудрые и полезные слова, поэт уподобляет слово алмазу:

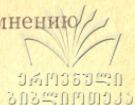
**Тысячу раз воздаю хвалу создателю слова,
Он алмазы творит из маленьких зерен.**

Руставели считает, что краткость и ясность — главные критерии художественного слова, и эта краткость присуща именно поэзии:

Длинная речь сказывается кратко, тем и хороша поэзия.

Передавать мысли и идеи емкими многозначительными словами, вкладывать большое содержание в короткую фразу

— вот назначение подлинно художественной речи, по мнению Низами:



Говори меньше, но выбирай слова-жемчуга,

Если много — жизнь наполнится ими.

Ведь, как жемчуга, слова можно рассыпать.

Коль их будет множество, то они превратятся в кирпичи.

Как видим, у Низами и у Руставели немало одинаковых высказываний о значении поэтического слова и роли «властелинов слова» в жизни общества. Поэтическое слово — главное средство воздействия на читателя. «Можно речью сладкозвучной вызвать змея из норы», — так определяет великий грузинский поэт силу художественного воздействия поэтической речи. Низами считает, что перед настоящим поэтом стоят сложные и священные задачи, и прежде всего — подготовить человека к восприятию всех красок и тонкостей реальной действительности, раскрыть читателю нетленные истины земного бытия, восстановить все, что случилось тысячелетия назад, развернуть перед его глазами забытые страницы народной жизни. Назначение слова — в нравственном воспитании человека; оно должно призывать к борьбе с несправедливостью, угнетением, унижением человеческого достоинства и т. д. Слово — великое орудие утверждения положительного идеала художника.

Низами высоко ценит остроту мысли, переданной значительной метафорой, поэтическим сравнением и т. п. Для него не существует просто красивого слова: каждое слово в его поэзии наполнено глубоким смыслом, несравненной мудростью. Слово для него — не самоцель, а орудие для выражения своих глубоких мыслей, философских взглядов. Низами требовал от поэта не только поэтического мастерства, но и мудрости. Не случайно и Руставели считал поэзию сферой мудрости.

По мнению Низами, украшения в поэзии необходимы для достижения эффекта разнообразия. Но для их введения поэт должен обладать обширными познаниями.

Богатство и выразительность средств художественного изображения, поэтическая метафоричность, емкость слова и глубина подтекста, многозначность сравнений, поэтических фигур и т. д. — все это общие, присущие обоим гениям черты творчества.

Приведенные здесь высказывания Низами и Руставели далеко не исчерпывают богатства их представлений о месте и значении художественного слова.

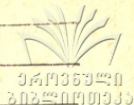
БУШЕВАЛА Отечественная война... На земле, на воде и в воздухе лилась кровь, народ в тяжелейших условиях жил и трудился в тылу. Но муза не молчала. На сцене московских театров шли прекрасные спектакли, в концертных залах звучала музыка, кипела интенсивная творческая жизнь. Редко выдававшееся свободное время летчики нашей авиации дальнего действия, попадавшие в Москву, как правило, проводили в Доме летчиков. Он занимал здание нынешней гостиницы «Советская» и в основном обслуживал авиацию дальнего действия, главный штаб которой находился поблизости, во дворце Петра Великого. Недалеко, рядом со стадионом «Динамо», в здании школы для летчиков авиации дальнего действия было что-то вроде «гостиного дома». Бывая в Москве, я останавливался в этом доме, а свободное время проводил в Доме летчиков. На его большой театральной сцене шли замечательные концерты. В танцевальном зале, который блистал богатым убранством, звуки танго и фокстрота сменялись мелодиями вальса. В распоряжении летчиков были большой бильярдный зал, комнаты отдыха.

Однажды в одной из бесед главный маршал авиации

● ДОКУМЕНТЫ

● ПИСЬМА

● ВОСПОМИНАНИЯ



Давид ЧХИКВИШВИЛИ

ОДНА ИЗ ПАМЯТНЫХ ВСТРЕЧ...

В этом кратком обзоре нам хотелось показать, насколько четко и ясно определена в творчестве обоих поэтов идея об огромном общественном значении «властелина слова» и в какой мере были единомышленниками наши поэты на поэтического творчества, насколько близкими были их интересы — философские, эстетические, литературные.

ХРОНИКА

„Витязь в барсовой шкуре“ на лакском языке

В культурной жизни Дагестана произошло знаменательное событие — вышла из печати поэма Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре» на лакском языке. Перевод осуществлен народным поэтом Дагестана Юсупом Хаппалаевым.

Лаки — народность (100 тысяч человек), проживающая в Центральном Дагестане. Сохранившиеся на лакском языке письменные памятники относятся к XVII веку. Лаки имеют богатое фольклорное наследие, в том числе исторические песни и баллады, отражающие события XV — XIX вв. На лакский язык переведены произведения Омара Хайяма, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Коста Хетагурова, Маяковского, Шолохова; с оригинала переведены «Тысяча и одна ночь», «Ромео и Джульетта».

Над переводом творения Руставели Юсуп Хаппалаев работал почти 50 лет. Еще в 1937 году двадцатилетний поэт опубликовал в лакской районной газете «Новый путь» свои переводы отрывков из поэмы «Сказание о Ростева-

не» и «Послание Нестан-Дареджан к Таризлу». Систематическую работу над переводом всей поэмы Ю. Хаппалаев начал в 1966 году после выхода академического перевода-подстрочника поэмы (Шота Руставели. Витязь в барсовой шкуре. Подстрочник. Подстрочный перевод с грузинского С. Иорданишвили. «Литература да хеловнеба». Тбилиси, 1966).

О качестве перевода и о том, насколько переводчику удалось сохранить дух и букву оригинала, видимо, выскажутся специалисты. Но одно уже очевидно, переводчику в известной степени удалось сохранить афористичность руставелевского стиха, его колорит, для чего ему пришлось мобилизовать весь словарный запас лакского языка, в том числе архаизмы и историзмы, которые, как утверждают лингвисты, во многом совпадают с их грузинскими эквивалентами. Лакская поэзия обогатилась 1579-ю строфами гениальной поэмы.

Н. С. ДЖИДАЛАЕВ,
доктор филологических наук.

Александр Голованов между прочим спросил меня:

— Что делается в Доме летчиков? Так мне и не довелось/ хоть раз там побывать.

— О, Дом летчиков — это нечто великолепное, — ответил я генералу и, зная о еще довоенном его пристрастии к бильярду, я ему кое-что рассказал о маркере Ефиме Кудрявцеве — истинном волшебнике этой игры. Еще в 1939 году он прослыл «чемпионом» Союза по бильярду и, как принято говорить о таких игроках, он «одним кием» выигрывал как «американку», так и «пирамиду». Игра этого невысокого, прихрамывавшего и очень разговорчивого человека всех приводила в изумление. Я часто видел прославленных людей, приходивших специально посмотреть игру Кудрявцева.

Главный маршал был явно заинтригован моим рассказом.

— Вечером на часок зайдем в Дом летчиков, посмотрим, что представляет собой твой Кудрявцев.—И с иронической улыбкой добавил: — Не ты ли научил Кудрявцева играть в бильярд? Ведь ты чемпион нашей авиации!

Я не могу не расшифровать смысл иронии, заложенной в высказывании Голованова, — тут есть своя предыстория.

Январь 1941 года оказался трагическим для многих городов Англии, особенно для Лондона. Авиация фашистской Германии днем и ночью бомбила эти города. Были случаи, когда ночью над Лондоном кружились сотни фашистских самолетов. Зенитная артиллерия и авиация Великобритании были бессильны оказать жестокому врагу серьезное сопротивление. Не только в военно-экономическом, но и в психологическом плане эта страна не была подготовлена к такому испытанию.

Эта военно-стратегическая акция не была обойдена вниманием руководства нашей страны. Состоялось совещание специалистов военной авиации с участием И. Сталина, на которое был приглашен шеф-пилот специальной эскадрильи гражданской авиации Александр Голованов.

Голованов был одним из лучших пилотов гражданской авиации, образованный, выдержанный, истинный мужчина, снискавший огромный авторитет и доверие руководителей партии и правительства. Еще будучи мальчишкой, в 15 лет он записался в ряды Красной Армии и боролся на фронтах гражданской войны. После войны он окончил авиационную школу, работал пилотом, начальником авиационной части, начальником Управления гражданской авиации Восточной Сибири.

За участие в 1939 году в военных операциях у реки Халхин-Гол он был награжден орденом Красного Знамени, а в 1940 году за выполнение специального задания в войне с белофинами—ор-

деном Ленина. Он обратился с письмом к И. Сталину с предложением создать из пилотов гражданской авиации авиацию дальнего действия, которая смогла бы не только днем, но и ночью бомбить предполагаемые вражеские стратегические центры.

Предложение Голованова было одобрено. Ему, известному летчику гражданской авиации, присвоили военное звание подполковника и обязали организовать авиационный полк особого назначения.

Голованов отобрал около пятидесяти лучших пилотов и инженеров гражданской авиации, а для отбора штурманов и стрелков-радистов обратился за помощью к руководству военно-воздушных сил.

В это время я проходил обязательную военную службу в авиационной части недалеко от города Запорожье. Мы, триста студентов Московского энергетического института, ускоренным темпом окончили военную авиационную школу.

В конце января 1941 года нас посетил военный инспектор из Москвы. Среди штурманов и стрелков-радистов он провел что-то вроде конкурса. Одним словом, на следующий день самолет уносил меня куда-то на Север.

Самолет приземлился на Смоленском военном аэродроме. Меня ссадили у края взлетной полосы, а самолет, так и не остановившись, развернулся и взмыл в воздух. Вокруг — ни души, только сверкающий снегом аэродром режет глаза. Куда идти — не знаю. Неожиданно возник шум едущей машины и показался автобус, на котором меня подвезли к большому трехэтажному зданию. Оно показалось пустым. Кто-то меня встретил, проводил на второй этаж, завел в одну из комнат. Старший лейтенант проверил мои документы и велел войти в дверь, обитую черной кожей.

В большой светлой комнате за письменным столом сидел высокий человек с тонкими чертами лица, одетый в форму полярного летчика, и что-то читал. Я по-военному представился, он встал и пошел мне навстречу. Приблизившись, он, как бы вглядываясь в меня и что-то взвешивая, остановился. Глаза теплились доброй улыбкой.

— Я командир полка, фамилия — Голованов. А вы первая ласточка нашего полка. Я тоже только сегодня утром прилетел из Москвы. Через несколько дней соберется весь полк, и возьмемся за дело. У вас счастливая нога?

Не зная, что ответить, я решил промолчать. Он придвинул стул к столу и пригласил сесть.

Я не был избалован в армии таким обращением со стороны начальства. Он просмотрел мои документы и спросил:

— Вы грузин?

— Да.

— Учились в Московском энергетическом институте. ^{ИСТОРИЯ}
чили военную школу?

— На отлично.

— Очень хорошо. Расскажите что-нибудь еще о себе.

Рассказывать было нечего. Какая у меня биография?.. Почувствовав мою растерянность, он попытался мне помочь.

— Наверное, вы комсомолец?

— Я член партии.

— Да, но сколько вам лет?

— В августе исполнится 20.

Он расспросил о родителях, а затем сам много говорил о моей родине.

Он хорошо знал Грузию, ее историю, культуру, традиции народа и говорил об этом с каким-то необычайным теплом. Через много лет он напечатал в журнале «Гантиади» (1975 г. № 3) статью «Сказка, ставшая былью», из которой становятся понятными истоки этой нежной любви к Грузии.

«Я был еще совсем маленьким, когда мама рассказывала мне о Грузии... С тех пор в моей детской памяти Грузия осталась сказочной страной, именно сказочной, хотя я точно знал — такая страна действительно существует...

...Впервые я попал в Грузию во второй половине 30-х годов, уже будучи летчиком...

...Первый человек, кто познакомил меня с духовной жизнью грузинского народа, с его бытом, был Иосиф Сталин... Именно от Сталина я многое узнал о вековых традициях грузинского народа, о его гостеприимстве, о его борьбе за свободу и независимость, о Давиде-строителе, о царице Тамар, об Ираклии... и многое другое я узнал от него...»

Однако вернемся к смоленским событиям 1941 года.

— Сейчас вас разместим, а вечером в 8 часов приходите в Дом офицеров — сыграем в бильярд, — закончил Голованов тот наш разговор.

В назначенное время я пришел в Дом офицеров. Подполковник Александр Голованов вошел в бильярдную комнату, и маркер приготовил стол.

Я довольно прилично играл в бильярд, но сейчас, когда передо мной стоял известный на всю страну летчик, грудь которого украшена несколькими орденами — что тогда было особенной редкостью, — я вдруг разволновался до дрожи в руках. Первую партию я проиграл.

Александр Голованов усомнился в моей искренности и сердито велел мне играть в полную силу. Следующую партию я легко выиграл, но Голованов не только не огорчился, но даже, как мне показалось, остался мною доволен. И прощаясь, это отметил. Впоследствии, когда в разговоре с Головановым упоминали обо мне, он неизменно добавлял: «Видели бы вы, как он играет в бильярд!»

И вот в 1944 году, если не ошибаюсь, 23 февраля, в день Красной Армии, маршал авиации дальнего действия Александр Голованов пожелал осмотреть Дом летчика и заглянуть в бильярдную.

В ожидании главного маршала Ефим Кудрявцев выставил всех из бильярдной. Там оставался лишь известный русский летчик и инженер Росинский, которого Ленин назвал «отцом русской авиации». Ему тогда было за шестьдесят, он был на пенсии, дружил с Кудрявцевым и свободное время всегда проводил с ним.

Кудрявцев приготовил бильярдный стол и попросил Голованова сыграть, Голованов отказался и указал на Росинского. Ясно, и тот отказался, так как играть с Кудрявцевым не имело смысла. Тогда по просьбе Росинского Кудрявцев показал маршалу несколько бильярдных вариаций. Например, поставил между двумя бильярдными шарами в центре стола пепельницу из тонкого стекла, а два других шара разместил в противоположных углах бильярда. Кудрявцев ударил кием с таким мастерством, что шар немного поднялся, пролетел в воздухе между двумя стоящими в центре шарами и, не задев пепельницы, прокатился по столу, забросив находившийся в противоположном углу шар в лузу. Все это было исполнено так виртуозно, что восхищенный Голованов вскочил. Кудрявцев повторил свой номер, и опять успешно. Тогда Росинский, встав между Кудрявцевым и Головановым и заглянув Кудрявцеву в глаза, потребовал: «А ну сейчас забрось!» Кудрявцев отказался. Голованов не без любопытства присоединился к просьбе Росинского.

— Нет, дорогой Александр Евгеньевич, сейчас я этот номер не смогу выполнить, ведь Росинский—знаменитый гипнотизер, разве вы не заметили, как он меня сейчас пронзил взглядом. Уже чувствую, что на этот раз ничего не получится.

— Все же попробуйте, — попросил Голованов.

Кудрявцев подошел к столу, глубоко вдохнул, приготовился и ударил кием в шар. Шар пролетел как пуля, попал в стеклянную пепельницу и превратил ее в осколки.

— Я же сказал, этот человек гипнотизирует! — с обидой сказал Кудрявцев и бросил кий на стол.

Голованов с удовольствием расхохотался и сел в кресло. Кудрявцев же сердито ходил из угла в угол, потом, немного успокоившись, подошел к Голованову, сел рядом.

— Я вам расскажу, Александр Евгеньевич, как этот субъект, «отец русской авиации», «вылечил» нашего великого артиста Качалова от «пьянства». Качалов работал над ролью пьяницы, но не испытывал удовлетворения от работы, и роль не давалась ему, он чувствовал, что повторяет Барона из пьесы М. Горького «На дне», и был в отчаянии, сознавая, что возник штамп. Однажды Качалов напился водки и сыграл несколько эпизодов своей роли перед зеркалом. Заметив, что «садится в роль», он повторил эту процедуру несколько раз. Этот факт, конечно, не мог остаться незамеченным для его жены. Расстроенная тем, что «муж спился», она стала искать лечащего врача. Кто-то посоветовал ей обратиться к Росинскому, вся Москва знала, что он лечил алкоголиков гипнозом. Однажды жена Качалова заманила своего мужа в дом Росинского, который заранее был предупрежден об этом визите.

Росинский с большим уважением принял известного артиста, долго беседовал с ним, рассказывая об авиации, о первых летчиках. Затем незаметно для Качалова начал проводить сеанс гипноза. Качалов сначала удивился, потом понял, что становится жертвой недоразумения, и с удивлением спросил у Росинского: «Что ты делаешь?» — «Как, что делаю? Лечу от алкоголизма».

Возмущенный Качалов потерял власть над собой и чуть не запустил стулом в голову Росинского... На то он и был Качалов!

Великий актер своей мимикой, жестом уводил весь зрительный зал в мир иллюзий, завораживал его. Разве существует что-либо сильнее гипноза сцены?! А тут какой-то Росинский захотел подчинить его власти своего гипноза... «Посмотрим кто кого!» — подумал Качалов. Он медленно подошел к окну, затем, повернувшись так же спокойно, широко раскрыв руки, пошел навстречу Росинскому и своим бархатным голосом стал читать стихи Омара Хайяма.

Завораживающе звучал в комнате баритон Качалова. Создавалась иллюзия, будто его голос не только пьянил, но как бы ошещал темную комнату.

Росинский с открытым ртом, восторженно окаменев, слушал Качалова.

*Пей вино, ибо радость телесная в нем.
Слушай чанг, ибо сладость небесная — в нем.
Променяй свою вечную скорбь на веселье,
Ибо цель никому не известна.*

Дай мне влаги хмельной, укрепляющей дух.
Пусть я пьяным напился и взор мой потух —
Дай мне чашу вина! Ибо мир этот — сказка,
Ибо жизнь — словно ветер, а мы — словно пух.



Налей вина, саки! Тоска стесняет грудь;
Не удержать нам жизнь, текучую, как ртуть.
Не медли! Краток сон дарованного счастья.
Не медли! Юности, увы, недолог путь.

— Еще что-нибудь прочитайте! — обратился с просьбой к Качалову Росинский.

— С удовольствием, но дай водки пополоскать горло.

Росинский сорвался с места и принес бутылку водки, хлеб, вареный картофель и рыбные консервы.

Качалов наполнил два больших стакана, один всучил Росинскому, чокнулся с ним и жестом показал — выпей, мол. Росинский, не задумываясь, тотчас выпил. Качалов опять подошел к окну и присел на стул. Росинский с мольбой смотрел на Качалова, как бы прося: ведь я выпил водку, так почитай еще что-нибудь!

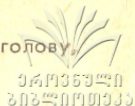
Актер не спешил. Он видел, как Росинский терял терпение. Здесь необходима была психологическая пауза. Когда приблизилась «критическая точка», Качалов продолжал:

Гора, вина хлебнув, и то пошла бы в пляс.
Глупец, кто для вина лишь клевету припас.
Ты говоришь, что мы должны вина чураться?
Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас.

Трезвый, я замыкаюсь как в панцире краб.
Напиваясь, я делаюсь разумом слаб.
Есть мгновенье меж трезвостью и опьянением.
Это высшая правда, и я ее раб!

Качалов хотел прочесть еще одну строфу, но заметил, что Росинский наполнил себе стакан, опрокинул водку, затем взял кусок хлеба и понюхал. Глаза Росинского блестели, он был в хорошем настроении, что-то бессмысленно бормотал. Качалов показал ему на пустую бутылку. Росинский выскочил и принес еще две бутылки водки, поставил на стол и уставился на Качалова. Теперь Качалов уже своей мимикой воздействовал на Росинского, который сильно опьянел и замутненным взором смотрел на своего

«больного». Качалов приблизился к Росинскому, поднял ему голову, с вызовом посмотрел ему в глаза и произнес:



Долго ль будешь скорбеть и печалиться, друг,
Сокрушаться, что жизнь ускользает из рук?
Пей хмельное вино, в наслажденьях усердствуй,
Веселясь, совершай предначертанный круг!

Росинский наполнил стаканы и один из них протянул Качалову. Качалов отрицательно покачал головой: не видишь, мол, я вошел в роль, не мешай, сам пей! Росинский немедленно опрокинул друг за другом оба стакана.

Захмелевший Росинский, запомнив одну строчку стихов Омара Хайяма «Дай мне влаги хмельной»..., без конца повторял ее басом.

На этот шум в комнату ворвалась жена Росинского, увидела пьяного мужа и стоявшего в стороне Качалова, лицо которого светилось улыбкой и чувством внутреннего удовлетворения, и накинулась с упреками на него.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в комнату не вошла жена Качалова, которая должна была отвезти домой «выздоровевшего» мужа.

Качалов благополучно вернулся домой, а Росинский провел «черную» ночь.

Эта история покатила-покатила и стала достоянием всей Москвы, обрастая подробностями. Злые языки, развивая ее, уверяли, что в дальнейшем жена Росинского в течение целого года звонила Качалову и грозила: «Как научил пить, так и вылечи»...

Главный маршал авиации Голованов, слушая Кудрявцева, от души смеялся. Вдохновленный Кудрявцев собрался рассказывать и дальше свои веселые истории, но Голованов заторопился.

— Я получил от общения с вами большое удовольствие, но, к сожалению, нет времени. Что касается вашего мастерства в бильярде, я просто не нахожу слов. До сегодняшнего дня мне казалось, что этот человек был чемпионом нашей авиации, — он показал рукой на меня, — но вы превзошли все ожидания.



Тамара ЦИНЦАДЗЕ

ПОЭТИКА КАУНТИ КАЛЛЕНА

ИЗ ЦИКЛА
«НЕГРИТЯНСКАЯ
ПОЭЗИЯ АМЕРИКИ»

20 -Е ГОДЫ XX века — своеобразный «кумулятивный» период в негритянской поэзии США. Именно тогда закладывалась основа новой негритянской поэзии, поражающей сегодня даже искушенного читателя. Черным поэтам той поры были свойственны внутренние противоречия, мятежность, поиски нового, отказ от традиционных стереотипов, стремление обрести духовность, найти свои корни, восстановить связь с культурными традициями своей давно утраченной родины — Африки. Эти сложные переплетения ярко отразились в поэзии Каунти Каллена (1903—1946).

Осиротевший к двенадцати годам Каунти Портер был усыновлен Ф. А. Калленом — священником, главой крупной гарлемской церкви, одним из религиозных и вместе с тем политических лидеров негров и основателей Городской лиги, соратником Уильяма Дюбуа, активным членом НАСПЦН¹. У него Каллен получил первые уроки теологии и политической активности. Влияние приемного отца внесло в сознание и жизнь Каллена первые противоречивые моменты.

Каллен рано сложился как поэт. Еще в школе получал он призы в поэтических конкурсах. Из ранних стихов Каллена примечательны «Рождество 1917 и 1919 годов», навеянное войной, «Пловцу» (единственный в творчестве Каллена обра-

¹ Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

зец белого стиха), «Песня поэта» (умелая стилизация под известные английских и американских поэтов) и особенно «У меня свидание с жизнью», задуманное как ответ на стихотворение А. Сегера «У меня свидание со смертью». (Молодой американец А. Сегер, живший в течение нескольких лет во Франции, в 1914 г. вступил во Французский иностранный легион; на фронте написал это стихотворение, ставшее популярным, но и пророческим — в 1916 г. Сегер погиб). Юный Каллен утверждал превосходство жизни над смертью. Это стихотворение появилось в популярных журналах и газетах и получило первую премию; его читали в школах, церквях, на собраниях. Некоторые из своих самых известных стихов Каллен написал, будучи студентом колледжа.

В 1923 году журнал «Букмен» опубликовал стихотворение Каллена «Цветному юноше»¹, в котором впервые зазвучала тема примитивизма, ставшая важной в зрелой поэзии Каллена. С тех пор стихи Каллена регулярно появлялись в ведущих американских литературных журналах. В 1924 году Каллен получил первый приз в общенациональном студенческом конкурсе за «Балладу о коричневой девушке», созданную на основе старой английской баллады, которую он интерпретировал в свете расового вопроса. Л. Китридж назвал «Балладу» наилучшей в американской литературе лирической интерпретацией старой баллады. В 1925 г. журнал «Амэрикан меркюри» напечатал поэму Каллена «Покров цвета». Как и большинству своих ранних стихов, Каллен придал поэме религиозную окраску (чем значительно ослабил ее драматическую структуру и затемнил центральную идею). Расовый конфликт подается поэтом как нечто вечное, как борьба всего живого за самосохранение. С расовой проблемы Каллен переключает внимание на «космические» проблемы. Протест Каллена весьма условен (что характерно для всей его поэзии и прозы). Однако, несмотря на расплывчатость заключенного в ней протеста и ее книжность, поэма Каллена, как и его поэзия в целом, исходит из расового конфликта.

Лирический талант Каллена был настолько очевиден, что появление поэмы превратилось в литературное событие. М. Ван Дорен, Л. Китридж, У. А. Уайт и другие видные критики предрекали Каллену будущее крупного лирического поэта Америки. Каллен стал источником вдохновения для других

¹ Стихи Каллена и других участников Негритянского Возрождения см. в антологии «Поэзия США» (М., 1982, стр. 536—567)

писателей Негритянского Возрождения¹, чему способствовали его молодость, несомненный талант, престиж, популярность в ведущих журналах. И хотя позднее на авансцену вышли другие поэты, в середине 20-х годов Каллен считался одним из ведущих поэтов Возрождения и первым его лирическим поэтом.

С выходом в свет в 1925 г. сборника «Цвет», в который вошел и «Покров цвета», еще будучи студентом колледжа, Каллен был признан одним из ведущих поэтов Негритянского Возрождения. Он наделен особым поэтическим восприятием мира, обостренным чувством красоты. «Прекрасное» — в центре внимания и эстетики Каллена; поэзия, по его выражению, это «красиво изложенная высокая мысль». Красота означает для него и красоту звуков, и, судя по названию сборника, образность цвета. И тем не менее большинство стихов сборника посвящено расовым проблемам: как и многие поэты Возрождения, Каллен воспекает черную расу, особенно чернокожих женщин («Хвалебная песня», «Цветному юноше» и др.), пишет о духовной связи негров с Африкой, о дремлющих в них «языческих» импульсах, тяге к далекой и забытой родине («Наследие», «Гарлемское вино», «Танец любви», «Языческая молитва», «Боги» и др.). Поэт поддерживает в своем народе чувство гордости за свою расу. В стихах Каллена слышны отзвуки ностальгии по давно утраченной родине; поэт оплакивает безвозвратную утрату негром прекрасных качеств, которыми обладал он некогда в Африке. Незаметно в его стихах возникает новый стереотип — вместо знакомого стереотипа добродушного, подобострастного слуги Каллен создает образ сильного, благородного дикаря.

Но важнее «африканских» стихов Каллена — его стихи о жизни и проблемах негров в Америке, о различных аспектах негритянской проблемы — о поисках негром своего «я», стремлении постичь смысл и значение расы, о его каждодневных проблемах и трудностях, его будущем, боли и надеждах, о взаимоотношении рас (серия стихов о «переходе»², «Случай», «Дитя субботы», «Покров цвета», часть эпитафий и др.). Во многих стихах звучат антихристианские мотивы; иные стихи отражают интерес поэта к общечеловеческим проблемам. Большинство стихов «волифонично» — различные темы образуют

¹ Период 1910—1935 гг. в негритянской литературе США.

² Так называют в Америке переход светлогожего негра в среду белых.

в них сложную, многоплановую структуру. Примечательно, что в таких стихах ведущей является расовая тема.

В «Цвете» слились две традиции — лирическая и традиция протеста. Художественное мастерство Каллена столь отточено, что протест составляет органическую часть его стихов, неразрывен с их структурой, немыслим вне ее. «Цвет» был хорошо встречен белыми и черными американскими критиками и читателями. О нем с восторгом отзывались современники — У. Брейсвейт, Б. Китридж и многие другие. Более поздние критики (Р. Бланкеншип, Н. Кэннеди, Бл. Джексон, Ст. Браун и др.) тоже хвалили этот сборник — писали о тонком, свободном, лирическом таланте Каллена, его удивительном техническом мастерстве, значимости Каллена для американской поэзии и т. д. «Цвет» занял особое место в литературе Негритянского Возрождения. Многие темы, по-своему раскрытые Калленом (расовая и «африканская» темы, тема религии, протеста и др.), были созвучны темам и интересам большинства негритянских писателей тех лет, вплетались в общую картину литературы Возрождения, открыв в ней еще одну, новую грань.

В 1927 г. Каллен переиздал «Балладу», составил антологию стихов негритянских поэтов от П. Л. Данбара (знакомого широкому читателю в основном стихами в «диалектной» традиции) до младших своих современников, опубликовал второй сборник стихов «Медное солнце». В этом сборнике заметны сдвиги в сознании Каллена, его изменившееся отношение к конфликту «христианство — язычество», больший оптимизм, более острое восприятие им красоты мира и человека. И в этом сборнике образы негров носят обобщающий, общечеловеческий характер, но стихи на расовую тему уже более реалистичны. Во многих из них («Цвет», «Красное» и др.) поэт создает драматические ситуации, правдивые характеры; расовая тема в них сопряжена с общечеловеческой. Герония «Красного» — пожилая негритянка в нелепой красной шляпе — вызывает улыбку; в отношении к ней поэта чувствуется мягкий юмор, тепло, сопереживание. И если «Цвет» был насыщеннее второго сборника, в «Медное солнце» вошли такие программные стихи Каллена, как «С высоты Темной башни», «Цвет», «Литания цветных» и другие.

В 1929 г. выходит третий сборник Каллена «Черный Христос и другие стихи», в 1935 г. — сборник «Медя и другие стихи», в 40-х годах — две книжки для детей и посмертный сборник стихов разных лет «На том стою». Последующие сборники Каллена в разной степени акцентируют и развивают

темы первого, лучшего его сборника. Поэтому мы проанализируем не отдельные сборники Каллена, а различные темы, повторяющиеся в его поэзии, и источник этих тем — внутренние конфликты и противоречия в душе Каллена.

Религиозный консерватизм приемного отца и его социальная и политическая активность породили в Каллене конфликтные, противоречивые чувства к религии и расе, что отразилось в его поэзии, романе и даже в теории поэзии. Часто поэт дает исходную идею — например, веру в доброту бога, — за чем следует серия эпизодов, разрушающих ее и противоречащих ей. Каллен провозглашает первичность художественной формы, эстетики, но пишет о расовых конфликтах, дискриминации, участвует в социальных и политических движениях. Он постоянно колеблется в выводах относительно расы, религии, искусства.

Большая часть жизни Каллена ушла на преодоление разрыва между его «христианским воспитанием» и «языческими инстинктами», восторженным отношением к Африке. Об этом поэт откровенно писал в автобиографической справке к составленной им антологии стихов негритянских поэтов. Трагизм в жизни Каллена был следствием и его нетипичности: Каллен, подобно молодым неграм-интеллектуалам из обеспеченных семей, имея свой узкий круг, оказался вне широкого общества; белые их игнорировали, смотрели на них как на диковинку; с негритянскими массами контакта они не имели (в отличие от вышедших «из низов» Л. Хьюза, Э. Н. Херстон, У. Сермана и других писателей Негритянского Возрождения). Черный критик Бл. Джексон считал Каллена эстетствующим буржуа, неозланистом. Каллен — человек крайностей, парадоксов, натура слишком сложная для язычества, атавизма, примитивизма. О сложности Каллена еще в 20—30-е годы писал А. Локк, позднее — Б. Фергусон и другие критики.

В своей поэзии Каллен отказался от негритянского диалекта (у П. Л. Данбара он признавал лишь «английские» стихи) и не раз высказывал желание быть понятым и принятым как Поэт, а не как негритянский поэт. Многие критики и поэты, в том числе Л. Хьюз, усматривали в этом что-то оскорбительное, недостойное негритянского поэта. Однако Каллена можно понять. Как представитель своего народа он был прав в этом желании, поскольку, борясь с сегрегацией, должен был сокрушать ее по всему фронту. Как поэту Каллену было важно, чтобы его происхождение не отчуждало его от широкого читателя и от общечеловеческих тем. В конечном счете борьба

Каллена была кампанией против культурного изоляционизма, главной его целью было разрушение старой традиционной, отрицающей негритянских поэтов, историков, прозаиков негритянскими темами.

При всем этом Каллен так и не смог уйти от расовых проблем в своем творчестве, и имя его все же ассоциируется с негритянской поэзией. О том, что Каллена преследовала мысль о расе и цвете, говорят и сами названия его стихов и сборников. Поэт признавал противоречие между своими теоретическими воззрениями и реальными склонностями: «Помимо собственной воли я обнаруживаю, что мною все сильнее движет расовое сознание... оно все крепнет... все ярче окрашивает мои стихи». Каллен говорил о богатстве собственных эмоций, которые он испытывал как негр. Работая помощником редактора в «Оппортюнити» и литературным редактором в «Крайсис», Каллен пришел к пониманию необходимости работать на благо своего народа, жить его интересами.

В интервью, данном французскому критику, как и в предисловии к антологии, Каллен защищал право негритянских писателей писать не только о расе, но и следовать классикам, забыть на время об «атавистическом стремлении к африканскому наследию». Однако именно этим «атавизмом» мотивировано многое в лучших стихах Каллена и прежде всего в его «Наследии», которое многие критики считают одним из лучших стихотворений не только в творчестве поэта, но и в негритянской поэзии 20-х годов. Поклонник классиков — Китса и Шелли, Каллен противился всем импульсам в себе и вне себя, вынуждавшим его быть «негритянской поэтом». Но большая часть его лучших стихов создана на расовую тему. Не желая быть негритянской поэтом, Каллен стал одним из лучших поэтов Негритянского Возрождения. Эта двойственность прослеживается во всей жизни и творчестве Каллена. Дуализм вообще был характерен для писателей Возрождения: Каллен стремился примирить в себе христианство и язычество; Дж. Тумер желал «унифицировать» свое раздвоенное сознание; К. Маккей искал «дом» в холодной пустыне, которую глава «черных мусульман» Элайджа Мухаммед называл «добрями Северной Америки»; У. Дюбуа писал о вечном дуализме души негра... Стремясь обрести цельность, Маккей, Тумер, Каллен, Хьюз, Серман, позднее — Дюбуа, Хаймс, Райт, Болдуин, Демби отправляются в Европу, Россию, Африку. Раздвоенность сознания Каллена вполне в традициях времени.

В поэзии Каллена, от первого до последнего сборника,

прослеживаются несколько основных тем. Эти тематические линии не исключают друг друга, они часто переплетаются порою, как уже отмечалось, сходятся в отдельных стихах («Официант из Атланта-Сити», «Гарлемское вино», «Покров цвета», «Наследие», «Черный Христос» и др.).

Унаследованные от приемного отца глубокий интерес к религии и христианское мировоззрение являются важнейшими элементами поэзии Каллена. Библейских образов и ассоциаций полна не только «религиозная», но и «мирская» поэзия Каллена. Тема религии звучит в его поэзии громче, чем у других поэтов Негритянского Возрождения. Наилучшим образом развернута она в стихе «Заноза в сердце» (по форме это сонет, в пределах весьма жесткой формы которого Каллен проявляет большую изобретательность); чувства поэта раздвоены — он верит в бога, но его гложет сомнение в божеском милосердии. Этот внутренний конфликт не разрешен ни в этом, ни в других стихах Каллена. Религиозными мотивами проникнуты стихи «Говорит Симон Сиренийский», «Литания цветных», «Черные Магдалины», «Мария, мать Христа», «Языческая молитва», «Наследие», «Боги»; «Покров цвета» и другие.

В четырех последних стихах и в поэме расового протеста «Черный Христос», в некоторых стихах на любовную и философскую темы в центре внимания Каллена — конфликт между христианством и язычеством, Христом и древними африканскими богами, к которым негру хочется обратиться, несмотря на исповедуемую им веру в Христа. Утратив родину, негр утратил и своих языческих богов, в отличие от христианского бога более добрых и чутких к его нуждам. Каллен постоянно ищет бога, способного понять боль чернокожих.

Полнее всего тема отчужденности негра от Америки и вопрос о духовном наследии негра раскрыты в «Наследии». Каллена волнует проблема значения Африки и африканского наследия для американского негра XX века. Герой-рассказчик постоянно чувствует в себе стремление к земле, традициям, верованиям старой Африки, к ее примитивным богам, способным лучше понять боль чернокожих; его разрывает внутренний конфликт — между лояльностью к христианскому богу и инстинктивной тягой к африканским богам. Конфликт этот остается в «Наследии» неразрешенным.

Через все стихотворение проходит порой скрытая, порой явная ирония: она звучит и в самом названии, тоже двусмысленном. Где корни американского негра — в Африке, отдаленной тремя веками, или в Америке, в западной традиции?

Это все тот же неразрешимый центральный вопрос негритянской литературы — проблема дуализма, двойственности сознания американского негра. «Наследие» — это не просто стихотворение об Африке, но и откровенная атака на расизм и христианство. Негритянский критик А. Гейл считает, что «Наследие» подрывает устои христианской церкви. Стихотворение это можно изучать в различных психологических измерениях и планах, так как это и романтический экскурс в Африку, и своеобразная хирургическая операция, обнажающая душу негра. Основную тему стихотворения не заглушить звучащим в нем тамтамом. Для Каллена Африка — лишь символ, подобно «темному гарлемскому вину». Каллен не был знаком с настоящей Африкой; он лишь трансформировал миф в поэзию, и понимать стихотворение дословно не следует (подобно одному из критиков, который слишком дословно принял созданный Калленом образ Африки и сделал поэту серьезный выговор за перенесение в Африку дерева, растущего лишь на Цейлоне).

Каллен с глубокой иронией (но и печалью) спрашивает себя, что значит для него Африка? И сам же отвечает — почти ничего; это книга, которую тихо листаешь перед сном. Как волна, накатывает на поэта ощущение своего бывшего родства с Африкой, но **каждый** раз после этого иной, трезвый голос подытоживает **степень** родства с этим таинственным континентом и решает фактически не в пользу этой связи, выявляет близость негра к западной традиции. Этим голосом поэт заявляет, что он выше язычества, его вера — христианство, **весьма сильный христианский бог**, а не африканский божок, вырезанный из сучка. Но внутренний конфликт так и остается неразрешенным.

«Наследие» — атака на расизм и христианство. Но эффективная ли? Несмотря на яркость образов, стихотворение не убеждает; отдельные нити в нем не сливаются воедино. Тема Африки несколько искусственная. Каллен бравивирует своим «дикарством» и «язычеством»; его образы «**сильных бронзовых мужчин**» и «**царственных черных женщин**» — это способ достичь самоуважения, мятеж против попытки белых лишить негров прошлого, истории, предков. Поэты Негритянского Возрождения, в том числе и Каллен, обращались к «африканской» теме, чтобы подчеркнуть грубый материализм Америки, контрастирующий с идиллической жизнью чернокожих в предколониальной Африке.

Африка Каллена лишена конкретности; его «африканские»

образы взяты из мифов, истории, литературы. В описаниях этого континента у Каллена отсутствуют конкретные детали, делающие картину достоверной; его Африка — это не реальное место, а сон, грезы наяву (как в «Цветном певце блюзов»), символ, идеализированная земля, где чернокожие были когда-то счастливы и свободны. Поэтому языческий мятеж Каллена — фикция. Стихотворение полно экзотических клише (о некоторой искусственности «Наследия» пишут критики А. Дэвис, Бл. Джексон, Д. В. Стауфер). «Экзотический» эскапизм в конечном счете не имеет позитивных ценностей для Каллена как для художника. Каллен дословно понял призыв теоретика Негритянского Возрождения А. Локка к негритянским писателям обратиться к своим «примитивным» началам. Примитивизм в той или иной мере присутствует и в поэзии Дж. У. Джонсона, К. Маккея, Л. Хьюза, но упирается больше в американскую народную традицию; в их поэзии редки «примитивные» африканские стереотипы. Для Каллена же Африка была символом духовности американского негра и орудием личного мятежа против христианства и расизма.

«Наследие» — это одно из ранних выражений концепции негритюда, ощущения негром культурного родства с африканцем, один из источников утвердившегося лозунга «Черное — это прекрасно!» Символика стихотворения аналогична «обратной» символике Дюбуа в «Песне дыма» — черный цвет ассоциируется с радостью, справедливостью, красотой, силой и божественным. Но Каллен и его последователи-примитивисты писали не столько о древнем искусстве и философии Африки, которые должны были стать их истинным духовным наследием, сколько об африканских джунглях с их экзотикой и раздающимися в ночной тиши тамтамами. И хотя все это звучит довольно искусственно в устах выросшего на американском Севере поэта, Африка предстает в «Наследии» Каллена куда более привлекательной, чем в «Конго» и других «африканских» стихах известного американского поэта Вячела Лендсея.

К теме Африки — прародительницы негров — Каллен обращается во многих стихах («Черное великолепие», «Хвалебная песня», «Гарлемское вино», «Танец любви» и др.). Однако современная Каллену Африка с ее нищетой, болезнями и отсутствием фактической свободы («третий мир» тогда лишь пробуждался) мало походила на ту пастораль XVII—XVIII веков, какой представляли себе ее Каллен и другие примитивисты. Их язычество не имело корней в Африке — старой

али новой: они лишь романтически воспевали Африку, праматерь цветных, и это было формой их эскапизма, ответной реакцией на дегуманизацию негра в Америке. Эскапизм Каллена органически связан с его бунтом против американского расизма, выразившимся в восхвалении чернокожих, в акцентировании красоты негритянок, силы и благородства чернокожих мужчин, в отрицании какой-либо привлекательности белых женщин.

Каллен пытался воссоздать образ чернокожего, каким он виделся ему — сильного, гордого, независимого, простого, импульсивного, полного чувств, эмоций «благородного дикаря». И тут очередное противоречие: герой-рассказчик (т. е. сам Каллен) — это человек сложный, интеллектуальный, раздираемый внутренними конфликтами, глубоко религиозный (это христианин). Два центральных образа, два главных героя Каллена находятся в постоянном противоречии. Разумеется, верх берет реально существующий человек — его герой-интеллектуал, сам Каллен, а не модель, идеал чернокожего, существующий лишь в сознании поэта.

Конфликт между христианством и язычеством, вопрос о значении для американского негра западной культуры, христианства и Африки получает конечное решение в поэме «Черный Христос». Эта поэма в сорок страниц — одно из полифонических произведений Каллена. Основной фон действия — суд линча над молодым негром и его воскрешение (параллель с муками и воскрешением Христа) — дает поэту возможность создать образ эпического героя. В поэме он развивает темы, ставшие важными в 30-е годы, но преподносит их иначе. В 30-е годы многие поэты проводили аналогию между распятием Христа и линчеванием негров в Америке. Но поэма Каллена менее реалистична и пряма, перегружена намеками, недомолвками, аллегориями. Тема суда линча и ответной мести была популярна среди поэтов 30-х годов, но калленовские герои — чернокожие южане, говорящие возвышенным слогом, — были для последних неприемлемы. Суд линча у Каллена происходит за кулисами — поэты 30-х годов были прямее, откровенно вызывали в читателе сочувствие и протест. Страдания Христа у Каллена олицетворяют страдания негров. Поздние поэты сопрягали с этой символикой и идею спасения всего негритянского народа, даже всего человечества, герой же Каллена остается эгоцентричным. Индивидуализм Каллена отчуждал его от других негритянских писателей, и не только писателей 30—40-х годов, но и от писателей Возрождения — Маккея,

Хьюза, У. Уайта и других (в романе последнего тема линча нашла весьма реалистическое решение).

9619359210
000000000000

«Черный Христос», как и многие другие произведения Каллена, имеет корни не в жизни, а в литературе. Однако в поэме Каллен приходит к пониманию тщетности своего искусственного язычества; к пониманию того, что место американского негра — в Америке. Эта перемена созвучна времени, когда создавался «Черный Христос». Постепенно от «экзотических» клише и примитивизма Каллен приходит к пониманию прошлого негров — видит его в американской, а не в африканской почве.

Фон поэмы Каллена — социальный. Каллен обращается к теме войны, суда линча, к расовым проблемам. Критики считают «Черного Христа» «поэмой расового протеста». Герой поэмы Джим — молодой негр, недавно вернувшийся с войны, — влюбляется в белую девушку и любим ею, за что и умирает от рук линчевателей. Его брат — рассказчик, полный сомнений и смятения, — начинает по-настоящему верить в Христа после явления ему воскресшего Джима. Конечный смысл поэмы — вера в милосердие христианского бога (т. е. белых); суд линча превращается в испытание этой веры. Брат теряет веру в Христа (т. е. измученные рабством и страданиями американские негры готовы разувериться в человечности Америки), но воскресший Джим возвращает его к вере.

Каллен пишет о Юге — о красоте земли Юга и о страданиях, через которые негр прошел на этой земле. Тема Юга, как и тема бога, связана с образом матери — верной христианки. Мать рассказывает сыновьям истории из библии, ассоциирующиеся с историей негров в Америке. Услышав рассказ о линчеванном негре, младший, Джим, сжимает кулаки (тут Каллен вводит тему мести). Он вырастает красавцем, свободолюбивым бунтарем, атеистом (образ «нового негра»). Джима мучают предчувствия — он понимает, что также может оказаться линчеванным, но он не дастся покорно в руки линчевателей. Он готов мстить им за тысячи загубленных рабов. Джим говорит о давно запоздалой мести белым, о том, что тысячи погибших его предков укрепят его дух и руку, поднимающуюся для мести, о «гордом чернокожем», готовом к действию. Мать призывает сына к любви, вере, терпению. Белые называют Джима «гордым черномазым», «красавчиком», выделяя таким образом его из безликой массы, какой были для них негры раньше.

Поэт пишет о проклятии, тяготевшем над Югом. Мать

решает уехать с мятежным сыном, уберечь его от беды, но что-то держит ее в том краю (т. е. многое держит некрополи в Америке; это уже новая мысль в поэзии Каллена, писавшего ранее об экспатриации и притягательной силе Африки). Каллен сомневается в действительности религии как выхода или опоры; отказывается петь хвалу господу. Мятежность, свободомыслие приводят Джима к гибели.

Каллен делает Христа главной трагической фигурой поэмы, сливая его образ с образом многострадального негра. Христос становится символом всех конфликтов в сознании и жизни негров. В поэме есть глубоко правдивые, живые образы, отдельные реалистические ситуации. Протест поэта, очевидно, обращен не к богу, а к Америке. «Черный Христос» — это отказ Каллена от «экзотической» африканской темы, от бывшего «язычества» и утверждение веры в то, что место американского негра — в Америке («Земля эта и я — разве мы не едины?» — спрашивает герой). Это своего рода спор Каллена — автора «Черного Христа» с Калленом — автором «Наследия».

Как уже говорилось, одна из ведущих тем в поэзии Каллена — лирическая тема. Как и всякий лирический поэт, Каллен пишет о любви и ненависти, верности и непостоянстве, радостях и муках любви, о жизни и смерти, о суетности земного. Темы эти в различных вариациях присутствуют одновременно во многих его стихах («Будь добра», «Ничто не вечно», «Призраки», «Каприз», «Кошунство», «Хлеб и вино», «Древо любви», «Медуза», «Сонет» и др.). Каллен описывает не только идеальную красоту, он далек от аскетизма (ироническая эпитафия «Девственнице» и др.), с восторгом описывает земную сочную красоту чернокожих женщин («Хвалебная песня», «Цветному юноше», «Баллада о коричневой девушке» и др.), пишет о полнокровной плотской любви. Любовная лирика Каллена не лишена конкретности: так, его стихи на тему любви приобрели печальное звучание после разрыва его брака с Иоланд Дюбуа — дочерью У. Дюбуа («Вопреки себе», «Призраки» и др.). Посвященное ей стихотворение «Призраки» — одно из лучших в лирике Каллена и в американской лирической поэзии в целом. Лиризм Каллена ярко проявился в стихах «Ничто не вечно», «Это не ветром принесенные слухи», «Уж было сказано» и других. Каллен достиг поставленной им цели — говорить о вещах красиво и музыкально.

Сильна в поэзии Каллена и философская тема (эпитафии, «Дядя Джим», «Моему читателю», «Совет молодым», «Древо

любви», «Голод». «Настроение», «Прощай», «Ничто не вечно» и др.). В стихах на тему любви и на философскую тему часто вплетается тема смерти («Песня самоубийцы», «Реквием», «Покров цвета», «Два размышления о смерти» и др.). Тонко, образно, вдохновенно, как и подобает истинному лирику, Каллен пишет о природе («Призраки», «Джону Китсу, поэту» и др.). В таких стихах, как «Жестокий мир» или «Случай», поэт пишет о жестокости мира. Если Маккей в стихах на эту тему прям и резок, Каллен выражается намеками («Случай» — один из редких примеров его прямоты). Видно, что хотя Каллен и пишет о страдании, он не прошел через то, что было так хорошо знакомо К. Маккею, Ф. Джонсону и другим писателям Негритянского Возрождения. Резкий тон и едкая ирония встречаются у Каллена лишь в эпитафиях. Каллен часто пишет о поэзии и поэтах (стихи, посвященные Китсу, Шелли, Э. Лоуэлл, Э. Дикинсон, Э. Келлер, Данбару и др.). Широко цитировалось его стихотворение «И я дивлюсь», в котором Каллен говорит о муках поэта, и особенно поэта-негра. Каллен видит парадокс в том, что бог создал поэта черным и повелел ему, невзирая на боль, слагать стихи и воспевать мир. Это стихотворение предваряет другую тему в поэзии Каллена — расовую тему.

Следует сказать, что в каждом сборнике Каллена стихи на расовую тему, как и большинство стихов на тему религии, даны в разделе «Цвет» (в сборниках Каллен обычно помещал свои стихи по тематическому признаку под разделами «Цвет», «О любви», «Эпитафии» и др.). Объединение этих двух тем в едином разделе лишний раз свидетельствует о том, что религиозность, вера в Христа для Каллена были неотъемлемы от проблем расы, были сопряжены и теснейшим образом существовали в его сознании. Несмотря на несомненную важность темы религии и «африканской» темы в поэзии Каллена, критики отмечают доминирующее значение в ней расовой темы. Последняя не затмевается его лирическими и юмористическими стихами и проявляется не только в стихах, посвященных расовым проблемам, но и в стихах, посвященных религии, Африке, язычеству, любви. Расовая тема громко звучит в таких, казалось бы, «религиозных» стихах, как «Покров цвета», «Черные Магдалины», «Литания цветных» и, конечно же, в «Черном Христе». У Каллена есть серия стихов о «переходе», где тема эта имеет четкое социальное звучание («Почти белый», «Двое перешедших» и др.).

От сборника к сборнику в поэзии Каллена все меньше

«экзотики» и «язычества», все больше стихов на расовую тему, четко слышны нотки расового и социального протеста и даже стремление ответить ударом на удар. Расовый альфонсальный протест пронизывает такие стихи Каллена, как «Случай», «И я дивлюсь», «Дитя субботы», «С высоты Темной башни», «Критики», «Литания цветных». У Каллена есть много коротких стихов, проникнутых духом социальной сатиры; к ним примыкают и юмористические эпитафии. Его стихи протеста большей частью свободны от примитивизма, реалистичнее и конкретнее других его стихов. Учитывая изначальную эстетику Каллена, следует отметить его сознательный переход от поисков идеальной красоты к насущным проблемам своего времени и своего народа. Переход этот четко отразился в стихотворении «Дядя Джим»: как и его герой — молодой идеалист, Каллен начал с отвлеченных размышлений, но обнаружил впоследствии, что не может абстрагироваться от конкретных задач жизни и проблем расы.

В поэзию протеста Каллена входят и стихи на тему экспатриации. Среди них есть несколько стихов о Франции — стране, где «негр свободен и атмосфера не насыщена расизмом». Стихи эти вошли в сборник «Медея...». Последнее стихотворение этого сборника — «Скотсборо также достойно песни» — одно из самых воинственных у Каллена. Белые поэты, писавшие о Сакко и Ванцетти, прошли мимо трагедии, происшедшей в Скотсборо, о чем Каллен и напоминает им. (В Скотсборо произошла жестокая расправа над восьмерыми черными юношами, необоснованно обвиненными в оскорблении белой женщины). «Скотсборо...», завершающее последний сборник Каллена, проникнуто резким расовым протестом. Каллен раньше многих других участников Негритянского Возрождения почувствовал глубину разыгравшейся в Скотсборо трагедии, ставшей одной из причин заката «золотого века» Гарлема.

В стихах на расовую тему Каллен писал о дегуманизации негров в Америке, расизме, неравенстве, сепаратизме, стремлении к свободе, об озлобленности негров, их воинственном протесте. Каллен писал и о Гарлеме. В стихотворении «Гарлемское вино» вино дано как символ черной расы; то, что течет в жилах Гарлема, — темнее, сильнее, жизненнее «белой водицы»; это и мятежность Гарлема, олицетворяющего ценности, отличные от ценностей белой Америки. Вино, придающее силу, притупляющее страх и боль, олицетворяет и более глубокое расовое наследие (тут стихотворение перекликает-

ся с «Наследием»). Примитивизм Каллена отразился и в часто описываемой им радости музыки, танца и любви. Все это сосредоточено в Гарлеме — месте, воплощающем для поэта человеческое тепло.

Лучшее воплощение расовой темы мы находим в стихотворении «С высоты Темной башни» — в нем звучит печаль, но вместе с ней озлобленность и грозное предостережение. Поэт бесстрашно заявляет, что гордится своим народом и намерен мстить врагам за миллионы загубленных предков. В стихотворении воплощена центральная тема Возрождения: «Мы не созданы для вечного плача, — говорит Каллен. — Мы не будем вечно сеять, как другие — жать...» Та же мысль проходит и в «сердитом» стихотворении «Настроение». В этих стихах литературный критик Н. Кэннеди усматривает «тот же изначальный импульс, который вылился в Биггера Томаса¹ и который... возникает в той или иной степени в каждом американском негре». Однако, как бы часто ни обращался Каллен к расовым проблемам, протест его редко носил форму лобовой атаки — поэт предпочитал намек, иронию.

Каллен не обладал темпераментом Маккея; Маккей резал напрямик, Каллен же предпочитал окольный путь. По этой причине некоторые критики считают, что в поэзии Каллена в сконцентрированном виде отразились наиболее уязвимые стороны литературы Негритянского Возрождения. Возможно, доля истины в этом есть. Тем не менее Каллен многое рассказал читателю о положении негритянского народа, о конфликтах, раздирающих сознание негров, ярко описал их страдания, более того — призывал их к борьбе («Скотсборо...», «С высоты Темной башни» и др.). Гв. Брукс, К. В. Вехтеп, Э. Рузвельт и многие другие отмечали умение Каллена противостоять расизму, несмотря на свою мягкость. Э. Рузвельт считала необходимым знакомство с «Черным Христом» Каллена для всех, начиная с того возраста, когда человек способен постичь смысл этой поэмы.

Сборником «Черный Христос», как утверждает А. П. Дэвис, Каллен прощается с расовой темой и с рубрикой «Цвет», но критик ошибается — этим сборником Каллен простился с поэзией (а потому и со всякими рубриками). Однако и созданный им роман (1931) построен на расовой теме. Стихи же для его посмертного сборника «На том стою» были

¹ Герой романа Р. Райта «Сын Америки» (1940), возвестившего новую эпоху в негритянской литературе США.

подобраны самим Калленом и включают все лучшее, что было написано им ранее о расе; к этому добавились не опубликованных до того стихотворений. Из них особенно важны «Колыбельная» (в которой появляется образ Джона Брауна) и «Каренге» (название которого взято из девиза Ганди «Добиться свободы или умереть!»). Последнее стихотворение полно мятежных, революционных настроений и свидетельствует о непреходящем интересе Каллена к расовым проблемам, о внутренней мятежности этого признанного лирика. Дэвис пишет и об уменьшающемся из сборника в сборник количестве стихов в рубрике «Цвет», т. е. о решении Каллена стать Поэтом. Будь это так, Каллен не собрал бы в пятом, итоговом сборнике всю свою «расовую» поэзию, поэзию социального и расового протеста. Интерес к негритянской проблеме, к нуждам чернокожих американцев отразился в стихах всех пяти сборников Каллена, в его поэме и единственном романе. Очевидно, что в поэзии Каллена слились лирическая традиция и традиция протеста.

Вступивший в литературу в «бурные» 20-е годы, принесшие много нового в жизнь американских негров, в их искусство и литературу, Каллен, будучи одним из активных участников движения «новый негр», отказывался следовать новой традиции, заложенной в негритянской литературе Дж. У. Джонсоном и развиваемой другими поэтами и прозаиками Возрождения — Л. Хьюзом, Дж. Тумером, Ст. Брауном и другими. Каллен не интересовался новыми движениями в литературе; он оставался в стороне от происходивших в 20-х годах в поэзии радикальных перемен. Творя в то время, когда В. Линдсей, Э. Паунд, Т. Элиот, У. Уильямс ломали старый поэтический язык и создавали новый, Каллен пишет так, как будто в английской и американской поэзии с конца прошлого века не произошло никаких перемен. Каллен — преимущественно лирический поэт, консервативный в своих поэтических вкусах, любитель размеренной строки и строгой, благозвучной классической рифмы.

Каллена критиковали за слишком «ученическое», нетворческое подражание классикам. А. Чепмэн даже называет Каллена «производным» поэтом. Некоторые критики (Н. Хагинс, Д. Литлджон) считают Каллена «прекрасным примером поэта XX века, шагающего под звуки музыки барабанщика XIX века», «редким образцом традиционалиста XX века». Поэт действительно был далек от изобретательности и демократичности Хьюза, пробовавшего различные формы народной поэзии и

формы, ставшие популярными с началом движения «новой поэзии». Он был далек даже от «неожиданностей» традиционалиста Маккея. Тем не менее Каллен стремился к полноте самовыражения через традиционные формы. Он брал лучшее у Китса и Миллей, через традиционные формы Каллен выражал проблемы и стремления «нового негра». Как образно сказал Ст. Браун, поэт «влил новое вино в старые бутылки». Видимо, этому способствовало и то, что Каллен, склонный к романтизму, был лишен сентиментальности и дидактизма, ибо верил, что «поэзия не должна проповедовать и поучать». Поэзия Каллена свидетельствует о том, что тонкие художественные формы и социальный и расовый протест не взаимоисключаемы; примером гармонии этих двух начал служат его стихи «С высоты Темной башни» (совершенный по форме сонет), «И я дивлюсь» и другие.

Критики отмечают лирический дар Каллена и его тонкое, редкое в современной поэзии мастерство владения классическими формами. Многие называют Каллена не иначе, как «американским поэтом», самым популярным поэтом Негритянского Возрождения, «традиционным» поэтом в лучшем понимании этого слова, самым известным негритянским поэтом своего времени. Критики пишут о даре краткого, эпиграмматического выражения, блестящей образности и метафоричности мышления Каллена и о его эпическом стиле. Как поэт и личность Каллен был настолько сложен и противоречив, что некоторая противоречивость встречается и в критических работах, посвященных его поэзии. Однако даже немало критиковавшие поэта Бл. Джексон и Д. Литлджон дают конечную положительную оценку его поэзии. Последний считает, что как поэт Каллен переживет этот век; его стихи будут читать, пока в Америке поэзия протеста будет иметь какой-то смысл.

Буржуазные американские критики акцентировали в поэзии Каллена тягу к мотивам универсального порядка, к красоте, идеальному, стремление к изяществу и завершенности форм и прочно утвердили за ним имя эстета. В то время для большинства критиков (и читателей) был важен сам факт существования негритянского поэта-лирика, поклонника классиков. Каллен с его музыкальными рифмами и классической манерой письма представлялся им образцом поэта. Традиционные представления критиков и читателей о поэте сыграли роковую роль в писательской судьбе Каллена, приостановив ее дальнейшее развитие. Но, хотя имя его ассоциируется с

образом поэта-классициста, эстетство в традиционном понимании этого слова мало вяжется с творчеством Каллена. Сужает диапазон тем и интересов поэта, высвечивает его лишь с одной стороны, оставляя в тени такие важные его свойства, как сострадание к «маленькому» человеку, интерес к расовой проблеме, Африке, к корням чернокожих американцев, проявлявшиеся в нем порою антирелигиозные настроения, силу протеста, звучащую в голосе поэта, отсутствие в нем сентиментальности и дидактизма, столь характерных для английских романтиков, чью стихотворную форму заимствует Каллен. Хотя он довольно часто пользуется классическими поэтическими формами, многое в сознании и творчестве поэта созвучно настроениям других писателей Негритянского Возрождения. В старые формы поэт вкладывает современное содержание, соответствующее программе «нового негра».

Противоречия в сознании и творчестве Каллена во многом были следствием противоречий самого Негритянского Возрождения — сложного движения, во многом зависевшего от признания и поддержки белых критиков и читателей и негритянского среднего класса. Литературная деятельность Каллена фактически завершилась с концом Возрождения. Каллен обратился к преподаванию, делал переводы, писал книжки для детей и переиздавал свои старые стихи. Хотя в 30—40-е годы поэт опубликовал ряд стихов, он не сказал в них почти ничего нового. По существу, поэту так и не удалось выйти за пределы лиричности, достигнутой им уже в первые годы своего писательского пути. Однако в общем контексте литературы Возрождения поэзия Каллена занимает важное место. Пройденная Калленом серьезная поэтическая школа, его техническая виртуозность, повышенное внимание к форме, благозвучности и мелодичности стиха оставили важное наследие негритянским поэтам последующих поколений. Лучшие стихи Каллена многое объясняют белой Америке в душе и жизни негра, говорят об изменившейся его психологии. Поэзия Каллена как бы подытоживает и в определенном смысле завершает «экзотическую», «примитивную» тему в поэзии Негритянского Возрождения, является преддверием новой негритянской поэзии.

Б. БЕГИАШВИЛИ, Л. САНАКOEBA

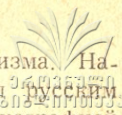
ЭСТАФЕТА ДУХА

К 170-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДАВИДА
ЧУБИНАШВИЛИ

В ПЛЕЯДЕ блестящих имен грузинских просветителей, писателей и общественных деятелей прошлых веков достойное место занимают представители трех поколений славной семейной династии Чубинашвили. Ее родоначальником был большой книголюб и эрудит священнослужитель Давид, сыновья которого Иессей (Яссе) и Николай (Николоз, Нико) заслужили благодарную память потомков своими незаурядными научными трудами. Иессей был известным лингвистом, автором печатной грамматики грузинского языка, протоиереем Сионского собора, Николай — замечательным лексикографом, переводчиком и археологом, выдающимся продолжателем дела Сулхана-Саба Орбелиани, внесшим неоценимый вклад в развитие русско-грузинских лексикографических связей, его работы охватывали русскую лексику допушкинского периода и опирались на богатейшие как грузинские, так и русские первоисточники.

Наконец, представитель третьего поколения династии Чубинашвили Давид, использовав и творчески переработав обширное наследие деда, отца и особенно дяди, стал первым грузином — профессором Петербургского университета, блестящим ученым, виднейшим филологом и историком мирового значения.

Архивные материалы донесли до нас основные сведения о жизни и деятельности Нико Чубинашвили. Он родился в 1788 году и с «младых ногтей» воспитывался в духе истин-



ного патриотизма и просвещенного интернационализма. Наряду с родным грузинским он великолепно владел русским языком, хорошо знал греческий и латинский. Лексикографией Нико стал интересоваться еще в детские годы, но с 1812 года, когда юноше исполнилось двадцать четыре, она стала главным делом его жизни. До 1825 года Нико жил в Тбилиси, работая над составлением учебников и учебных пособий гимназического курса, в период с 1825 по 1837 год — в Петербурге, где в основном занимался проблемами грузинской лексикографии и грамматики, служил переводчиком в Коллегии министерства иностранных дел, в 1842—45 годах Нико участвовал в археологических раскопках в Грузии и Палестине. Неоспоримы заслуги ученого, впервые перерисовавшего прижизненный портрет старца Шота Руставели с колонны грузинского Крестового монастыря в Палестине и сохранившего его в своем архиве (впоследствии он был издан Б. Канделаки). Над своими двумя главными капитальными лексикографическими трудами «Грузинский словарь с русским переводом» и «Полный российско-грузинский словарь» автор работал более двадцати лет, так и не опубликовав их при жизни: издание первого стало возможным только в 1961 году, а второй (I и II тома) стал достоянием читателей лишь в 1971—73 годах. Как известно, первый толковый словарь грузинского языка был завершен Сулханом-Саба Орбелиани в 1716 году. Работе над этой книгой автор посвятил тридцать лет жизни, заложив тем самым гранитные устои грузинской научной лексикографии. Непосредственным продолжателем и достойным учеником своего предтечи является не кто иной, как Нико Чубинашвили, — грузинская часть его словарей основывалась на словаре Орбелиани и на собственных изысканиях; что касается русской части, то Чубинашвили называет первое издание словаря Российской Академии наук и трехтомный толковый словарь Н. Яновского («Новый слово-толкователь, расположенный по алфавиту», 1803—1806 гг.).

Представитель третьего колена династии Чубинашвили знаменитый грузинский ученый-лексиколог, руствелолог и переводчик, племянник Николая Чубинашвили Давид Иессеевич Чубинашвили родился в Тбилиси 15 сентября 1814 года. Если его дед Давид Георгиевич был смотрителем, а затем и управляющим государственной типографией при царе Ираклии II, то отец не менее знаменит как автор популярной «Грамматики грузинского языка» и «Логики» (скончался Иессей 20 августа 1821 года, оставив сиротами Давида и его

сестру Евгению — через месяц после смерти 42-летнего супруга, не выдержав горечи утраты, умерла и мать детей).

В 1825 году Давид был увезен дядей в Петербург, ривший в семье дух просвещенного любомудрия, а особенно духовное влияние дяди, помогли фактически усыновленному им Давиду, будущему выдающемуся филологу и историку, определить свое жизненное призвание, четко очертить сферу научных интересов.

В 1835 году Давид Чубинашвили стал студентом, в 1844 — доцентом грузинского языка. В 1848 году он уже адъюнкт. В 1870 году Давид стал заслуженным профессором своей «альма матер». Как научную эстафету мысли и духа дядя передал любимому племяннику все свое обширное лексикографическое наследие, которое так и не успел обнародовать при жизни, и эта неоценимая сокровищница перешла в достойные руки. Не удивительно, что благодарный Давид Чубинашвили в своем предисловии к «Русско-грузинскому словарю» 1846 года издания счел необходимым написать: «Автор считает себя обязанным принести должную дань признательности покойному его дяде коллежскому советнику Николаю Чубинову за материалы для составления русско-грузинского словаря и сообщенные им основательные замечания». Оценивая роль и значение научного вклада этих ученых, следует помнить о том, что судьба оказалась куда более благосклонной к племяннику, нежели к его заслуженному дяде, заменившему юноше отца. Не говоря уже о новых веяниях, связанных с процессами поступательного развития общества, Давид, в отличие от Нико Чубинашвили, стесненного в средствах рядового учителя гимназии и лишь затем переводчика департамента иностранных дел, был взращен в высших академических кругах университета, являлся профессором и руководителем кафедры грузинской словесности, что, естественно, давало племяннику несравненно более широкие, чем у дяди, возможности публикации своих изысканий, успешной и плодотворной реализации своего незаурядного научного потенциала. Можно с полным на то основанием утверждать, что в исторической ретроспективе Давид Чубинашвили является непосредственным последователем, продолжателем и достойным учеником Нико Чубинашвили как в области лексикографии, так и в освещении основных ключевых проблем фонетики и грамматики грузинского языка.

Первым капитальным научным трудом Давида Чубинашвили был представленный им в Академию наук грузинско-рус-

ско-французский словарь, который был не только издан за счет Академии, но и удостоился полной Демидовской премии в 1846 году. В журнале министерства народного просвещения за 1847 год, № 4—6 (часть IV, стр. 73—75) читаем: «Это желание (речь идет об издании словаря. — Б. Б., Л. С.) ныне исполнено и, по удостоверению г. Броссе, исполнено с совершенным успехом и с соблюдением всех требований новейшей лексикографии. Автор воспользовался всеми лучшими источниками, собрал и объяснил на грузинском языке не менее 53 000 слов. Труд его, по удостоверению ученого рецензента, вполне достоин первостепенной премии (5.000 руб.)». В докладе Академии по этому поводу специально отмечается, что «Давид принадлежал к ученой грузинской фамилии — и отец его, и дядя, заменивший ему родного отца, отличались своей ученостью. Достойно внимания и то обстоятельство, что автору знаменитого словаря было всего 23 года. Грузинско-русско-французский словарь состоял из следующих разделов: 1. Краткая грузинская грамматика, где впервые глаголы приведены в систему и подразделены на классы. 2. Синонимы грузинских слов. 3. Корнеслов. 4. Список имен мужских и женских. 5. Список географических названий. 6. Собственно словарь.

Вторым фундаментальным трудом грузинского лингвиста был появившийся в 1846 году в двух объемистых томах русско-грузинский словарь — плод неутомимой шестилетней работы. Просвещенное внимание императора Николая к этому труду неутомимого ученого выразилось в том, что на издание его высочайше пожаловано было три тысячи рублей. Академия наук, со своей стороны, снова наградила автора присуждением полной демидовской премии».

В 1841 году Давид Иессеевич совместно с французским ученым Мари Броссе и Э. Палавандишвили издал научный текст поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Затем, в 1854 году, он единолично перевел на русский язык историческую хронику «Житие Картли» («Картлис цховреба»).

В 1858 году Давид Иессеевич опубликовал «Ручной (карманный) русско-грузинский словарь», а в 1860 году вышло в свет третье в XIX веке издание гениального шедевра Руставели. И если первое издание было снабжено составленным Чубинашвили кратким словарем, объясняющим малоизвестные архаизмы, то второе включило поэму в состав содержащей свыше 2.000 пословиц и поговорок грузинской хрестоматии (именно тогда Чубинашвили счел возможным

изъять из текста 44 строфы, признанные им не принадлежащими перу Руставели). Наконец, третье издание, пользовавшееся заслуженной известностью, было уже обстоятельно комментировано Чубинашвили, что облегчало понимание некоторых темных мест канонического текста поэмы.

В 1861 году в Петербурге издается переписка грузинских и русских царей, содержащая более 85 писем, извлеченных грузинским ученым из архивных фондов Министерства иностранных дел, для чего Чубинашвили был специально командирован в Москву императорской Академией наук. Тут же следует упомянуть, что в известной родословной книге князя Долгорукова весь отдел, посвященный грузинским царям и княжеским родам, принадлежал перу Давида Иессеевича, ему же принадлежит множество статей по истории и литературе Грузии в различных энциклопедических словарях, издававшихся в России в 30—60 годах XIX века.

К 1870 году все словари Чубинашвили стали библиографической редкостью. С другой стороны, значительные успехи в области лексикографии, достигнутые к тому времени, побудили автора взяться за переработку «Грузинско-русского словаря» сообразно с возросшими требованиями и внести в новую редакцию массу слов, не вошедших в прежние издания. Кроме того, в намерения Чубинашвили входило иллюстрирование многообразных оттенков значений слов путем указания цитат из классических произведений грузинской литературы. Эта многотрудная благородная задача была успешно разрешена двадцатисемилетними неусыпными усилиями Давида Иессеевича, который в 1878 году представил Академии наук новый труд, вчетверо превосходивший по объему первое издание. Этот словарь явился подлинной сокровищницей грузинской культуры, его значение непреходяще и неопределимо.

8 февраля 1869 года в связи с 50-летием Петербургского университета Чубинашвили награждается орденом Станислава 1-й степени. С 1869 года Давид Иессеевич стал членом императорского русского археологического общества, уже девять лет будучи членом географического и филологического обществ. Наряду с этим он являлся почетным членом общества по распространению грамотности среди грузин, почетным членом Санкт-Петербургского археологического института. В подтверждение того, как высоко ценили современники научный авторитет Давида Чубинашвили, позволим себе привести пространную выписку из некролога, опубликованного 15 ию-

ня 1891 года в № 8 «Прибавлений к духовному вестнику грузинского экзархата»: «5 июня после продолжительной и тяжелой болезни скончался заслуженный профессор ¹⁸⁹¹ ¹⁹⁰⁵ ¹⁹¹⁰ ¹⁹¹⁵ ¹⁹²⁰ ¹⁹²⁵ ¹⁹³⁰ ¹⁹³⁵ ¹⁹⁴⁰ ¹⁹⁴⁵ ¹⁹⁵⁰ ¹⁹⁵⁵ ¹⁹⁶⁰ ¹⁹⁶⁵ ¹⁹⁷⁰ ¹⁹⁷⁵ ¹⁹⁸⁰ ¹⁹⁸⁵ ¹⁹⁹⁰ ¹⁹⁹⁵ ²⁰⁰⁰ ²⁰⁰⁵ ²⁰¹⁰ ²⁰¹⁵ ²⁰²⁰ ²⁰²⁵ ²⁰³⁰ ²⁰³⁵ ²⁰⁴⁰ ²⁰⁴⁵ ²⁰⁵⁰ ²⁰⁵⁵ ²⁰⁶⁰ ²⁰⁶⁵ ²⁰⁷⁰ ²⁰⁷⁵ ²⁰⁸⁰ ²⁰⁸⁵ ²⁰⁹⁰ ²⁰⁹⁵ ²¹⁰⁰ ²¹⁰⁵ ²¹¹⁰ ²¹¹⁵ ²¹²⁰ ²¹²⁵ ²¹³⁰ ²¹³⁵ ²¹⁴⁰ ²¹⁴⁵ ²¹⁵⁰ ²¹⁵⁵ ²¹⁶⁰ ²¹⁶⁵ ²¹⁷⁰ ²¹⁷⁵ ²¹⁸⁰ ²¹⁸⁵ ²¹⁹⁰ ²¹⁹⁵ ²²⁰⁰ ²²⁰⁵ ²²¹⁰ ²²¹⁵ ²²²⁰ ²²²⁵ ²²³⁰ ²²³⁵ ²²⁴⁰ ²²⁴⁵ ²²⁵⁰ ²²⁵⁵ ²²⁶⁰ ²²⁶⁵ ²²⁷⁰ ²²⁷⁵ ²²⁸⁰ ²²⁸⁵ ²²⁹⁰ ²²⁹⁵ ²³⁰⁰ ²³⁰⁵ ²³¹⁰ ²³¹⁵ ²³²⁰ ²³²⁵ ²³³⁰ ²³³⁵ ²³⁴⁰ ²³⁴⁵ ²³⁵⁰ ²³⁵⁵ ²³⁶⁰ ²³⁶⁵ ²³⁷⁰ ²³⁷⁵ ²³⁸⁰ ²³⁸⁵ ²³⁹⁰ ²³⁹⁵ ²⁴⁰⁰ ²⁴⁰⁵ ²⁴¹⁰ ²⁴¹⁵ ²⁴²⁰ ²⁴²⁵ ²⁴³⁰ ²⁴³⁵ ²⁴⁴⁰ ²⁴⁴⁵ ²⁴⁵⁰ ²⁴⁵⁵ ²⁴⁶⁰ ²⁴⁶⁵ ²⁴⁷⁰ ²⁴⁷⁵ ²⁴⁸⁰ ²⁴⁸⁵ ²⁴⁹⁰ ²⁴⁹⁵ ²⁵⁰⁰ ²⁵⁰⁵ ²⁵¹⁰ ²⁵¹⁵ ²⁵²⁰ ²⁵²⁵ ²⁵³⁰ ²⁵³⁵ ²⁵⁴⁰ ²⁵⁴⁵ ²⁵⁵⁰ ²⁵⁵⁵ ²⁵⁶⁰ ²⁵⁶⁵ ²⁵⁷⁰ ²⁵⁷⁵ ²⁵⁸⁰ ²⁵⁸⁵ ²⁵⁹⁰ ²⁵⁹⁵ ²⁶⁰⁰ ²⁶⁰⁵ ²⁶¹⁰ ²⁶¹⁵ ²⁶²⁰ ²⁶²⁵ ²⁶³⁰ ²⁶³⁵ ²⁶⁴⁰ ²⁶⁴⁵ ²⁶⁵⁰ ²⁶⁵⁵ ²⁶⁶⁰ ²⁶⁶⁵ ²⁶⁷⁰ ²⁶⁷⁵ ²⁶⁸⁰ ²⁶⁸⁵ ²⁶⁹⁰ ²⁶⁹⁵ ²⁷⁰⁰ ²⁷⁰⁵ ²⁷¹⁰ ²⁷¹⁵ ²⁷²⁰ ²⁷²⁵ ²⁷³⁰ ²⁷³⁵ ²⁷⁴⁰ ²⁷⁴⁵ ²⁷⁵⁰ ²⁷⁵⁵ ²⁷⁶⁰ ²⁷⁶⁵ ²⁷⁷⁰ ²⁷⁷⁵ ²⁷⁸⁰ ²⁷⁸⁵ ²⁷⁹⁰ ²⁷⁹⁵ ²⁸⁰⁰ ²⁸⁰⁵ ²⁸¹⁰ ²⁸¹⁵ ²⁸²⁰ ²⁸²⁵ ²⁸³⁰ ²⁸³⁵ ²⁸⁴⁰ ²⁸⁴⁵ ²⁸⁵⁰ ²⁸⁵⁵ ²⁸⁶⁰ ²⁸⁶⁵ ²⁸⁷⁰ ²⁸⁷⁵ ²⁸⁸⁰ ²⁸⁸⁵ ²⁸⁹⁰ ²⁸⁹⁵ ²⁹⁰⁰ ²⁹⁰⁵ ²⁹¹⁰ ²⁹¹⁵ ²⁹²⁰ ²⁹²⁵ ²⁹³⁰ ²⁹³⁵ ²⁹⁴⁰ ²⁹⁴⁵ ²⁹⁵⁰ ²⁹⁵⁵ ²⁹⁶⁰ ²⁹⁶⁵ ²⁹⁷⁰ ²⁹⁷⁵ ²⁹⁸⁰ ²⁹⁸⁵ ²⁹⁹⁰ ²⁹⁹⁵ ³⁰⁰⁰ ³⁰⁰⁵ ³⁰¹⁰ ³⁰¹⁵ ³⁰²⁰ ³⁰²⁵ ³⁰³⁰ ³⁰³⁵ ³⁰⁴⁰ ³⁰⁴⁵ ³⁰⁵⁰ ³⁰⁵⁵ ³⁰⁶⁰ ³⁰⁶⁵ ³⁰⁷⁰ ³⁰⁷⁵ ³⁰⁸⁰ ³⁰⁸⁵ ³⁰⁹⁰ ³⁰⁹⁵ ³¹⁰⁰ ³¹⁰⁵ ³¹¹⁰ ³¹¹⁵ ³¹²⁰ ³¹²⁵ ³¹³⁰ ³¹³⁵ ³¹⁴⁰ ³¹⁴⁵ ³¹⁵⁰ ³¹⁵⁵ ³¹⁶⁰ ³¹⁶⁵ ³¹⁷⁰ ³¹⁷⁵ ³¹⁸⁰ ³¹⁸⁵ ³¹⁹⁰ ³¹⁹⁵ ³²⁰⁰ ³²⁰⁵ ³²¹⁰ ³²¹⁵ ³²²⁰ ³²²⁵ ³²³⁰ ³²³⁵ ³²⁴⁰ ³²⁴⁵ ³²⁵⁰ ³²⁵⁵ ³²⁶⁰ ³²⁶⁵ ³²⁷⁰ ³²⁷⁵ ³²⁸⁰ ³²⁸⁵ ³²⁹⁰ ³²⁹⁵ ³³⁰⁰ ³³⁰⁵ ³³¹⁰ ³³¹⁵ ³³²⁰ ³³²⁵ ³³³⁰ ³³³⁵ ³³⁴⁰ ³³⁴⁵ ³³⁵⁰ ³³⁵⁵ ³³⁶⁰ ³³⁶⁵ ³³⁷⁰ ³³⁷⁵ ³³⁸⁰ ³³⁸⁵ ³³⁹⁰ ³³⁹⁵ ³⁴⁰⁰ ³⁴⁰⁵ ³⁴¹⁰ ³⁴¹⁵ ³⁴²⁰ ³⁴²⁵ ³⁴³⁰ ³⁴³⁵ ³⁴⁴⁰ ³⁴⁴⁵ ³⁴⁵⁰ ³⁴⁵⁵ ³⁴⁶⁰ ³⁴⁶⁵ ³⁴⁷⁰ ³⁴⁷⁵ ³⁴⁸⁰ ³⁴⁸⁵ ³⁴⁹⁰ ³⁴⁹⁵ ³⁵⁰⁰ ³⁵⁰⁵ ³⁵¹⁰ ³⁵¹⁵ ³⁵²⁰ ³⁵²⁵ ³⁵³⁰ ³⁵³⁵ ³⁵⁴⁰ ³⁵⁴⁵ ³⁵⁵⁰ ³⁵⁵⁵ ³⁵⁶⁰ ³⁵⁶⁵ ³⁵⁷⁰ ³⁵⁷⁵ ³⁵⁸⁰ ³⁵⁸⁵ ³⁵⁹⁰ ³⁵⁹⁵ ³⁶⁰⁰ ³⁶⁰⁵ ³⁶¹⁰ ³⁶¹⁵ ³⁶²⁰ ³⁶²⁵ ³⁶³⁰ ³⁶³⁵ ³⁶⁴⁰ ³⁶⁴⁵ ³⁶⁵⁰ ³⁶⁵⁵ ³⁶⁶⁰ ³⁶⁶⁵ ³⁶⁷⁰ ³⁶⁷⁵ ³⁶⁸⁰ ³⁶⁸⁵ ³⁶⁹⁰ ³⁶⁹⁵ ³⁷⁰⁰ ³⁷⁰⁵ ³⁷¹⁰ ³⁷¹⁵ ³⁷²⁰ ³⁷²⁵ ³⁷³⁰ ³⁷³⁵ ³⁷⁴⁰ ³⁷⁴⁵ ³⁷⁵⁰ ³⁷⁵⁵ ³⁷⁶⁰ ³⁷⁶⁵ ³⁷⁷⁰ ³⁷⁷⁵ ³⁷⁸⁰ ³⁷⁸⁵ ³⁷⁹⁰ ³⁷⁹⁵ ³⁸⁰⁰ ³⁸⁰⁵ ³⁸¹⁰ ³⁸¹⁵ ³⁸²⁰ ³⁸²⁵ ³⁸³⁰ ³⁸³⁵ ³⁸⁴⁰ ³⁸⁴⁵ ³⁸⁵⁰ ³⁸⁵⁵ ³⁸⁶⁰ ³⁸⁶⁵ ³⁸⁷⁰ ³⁸⁷⁵ ³⁸⁸⁰ ³⁸⁸⁵ ³⁸⁹⁰ ³⁸⁹⁵ ³⁹⁰⁰ ³⁹⁰⁵ ³⁹¹⁰ ³⁹¹⁵ ³⁹²⁰ ³⁹²⁵ ³⁹³⁰ ³⁹³⁵ ³⁹⁴⁰ ³⁹⁴⁵ ³⁹⁵⁰ ³⁹⁵⁵ ³⁹⁶⁰ ³⁹⁶⁵ ³⁹⁷⁰ ³⁹⁷⁵ ³⁹⁸⁰ ³⁹⁸⁵ ³⁹⁹⁰ ³⁹⁹⁵ ⁴⁰⁰⁰ ⁴⁰⁰⁵ ⁴⁰¹⁰ ⁴⁰¹⁵ ⁴⁰²⁰ ⁴⁰²⁵ ⁴⁰³⁰ ⁴⁰³⁵ ⁴⁰⁴⁰ ⁴⁰⁴⁵ ⁴⁰⁵⁰ ⁴⁰⁵⁵ ⁴⁰⁶⁰ ⁴⁰⁶⁵ ⁴⁰⁷⁰ ⁴⁰⁷⁵ ⁴⁰⁸⁰ ⁴⁰⁸⁵ ⁴⁰⁹⁰ ⁴⁰⁹⁵ ⁴¹⁰⁰ ⁴¹⁰⁵ ⁴¹¹⁰ ⁴¹¹⁵ ⁴¹²⁰ ⁴¹²⁵ ⁴¹³⁰ ⁴¹³⁵ ⁴¹⁴⁰ ⁴¹⁴⁵ ⁴¹⁵⁰ ⁴¹⁵⁵ ⁴¹⁶⁰ ⁴¹⁶⁵ ⁴¹⁷⁰ ⁴¹⁷⁵ ⁴¹⁸⁰ ⁴¹⁸⁵ ⁴¹⁹⁰ ⁴¹⁹⁵ ⁴²⁰⁰ ⁴²⁰⁵ ⁴²¹⁰ ⁴²¹⁵ ⁴²²⁰ ⁴²²⁵ ⁴²³⁰ ⁴²³⁵ ⁴²⁴⁰ ⁴²⁴⁵ ⁴²⁵⁰ ⁴²⁵⁵ ⁴²⁶⁰ ⁴²⁶⁵ ⁴²⁷⁰ ⁴²⁷⁵ ⁴²⁸⁰ ⁴²⁸⁵ ⁴²⁹⁰ ⁴²⁹⁵ ⁴³⁰⁰ ⁴³⁰⁵ ⁴³¹⁰ ⁴³¹⁵ ⁴³²⁰ ⁴³²⁵ ⁴³³⁰ ⁴³³⁵ ⁴³⁴⁰ ⁴³⁴⁵ ⁴³⁵⁰ ⁴³⁵⁵ ⁴³⁶⁰ ⁴³⁶⁵ ⁴³⁷⁰ ⁴³⁷⁵ ⁴³⁸⁰ ⁴³⁸⁵ ⁴³⁹⁰ ⁴³⁹⁵ ⁴⁴⁰⁰ ⁴⁴⁰⁵ ⁴⁴¹⁰ ⁴⁴¹⁵ ⁴⁴²⁰ ⁴⁴²⁵ ⁴⁴³⁰ ⁴⁴³⁵ ⁴⁴⁴⁰ ⁴⁴⁴⁵ ⁴⁴⁵⁰ ⁴⁴⁵⁵ ⁴⁴⁶⁰ ⁴⁴⁶⁵ ⁴⁴⁷⁰ ⁴⁴⁷⁵ ⁴⁴⁸⁰ ⁴⁴⁸⁵ ⁴⁴⁹⁰ ⁴⁴⁹⁵ ⁴⁵⁰⁰ ⁴⁵⁰⁵ ⁴⁵¹⁰ ⁴⁵¹⁵ ⁴⁵²⁰ ⁴⁵²⁵ ⁴⁵³⁰ ⁴⁵³⁵ ⁴⁵⁴⁰ ⁴⁵⁴⁵ ⁴⁵⁵⁰ ⁴⁵⁵⁵ ⁴⁵⁶⁰ ⁴⁵⁶⁵ ⁴⁵⁷⁰ ⁴⁵⁷⁵ ⁴⁵⁸⁰ ⁴⁵⁸⁵ ⁴⁵⁹⁰ ⁴⁵⁹⁵ ⁴⁶⁰⁰ ⁴⁶⁰⁵ ⁴⁶¹⁰ ⁴⁶¹⁵ ⁴⁶²⁰ ⁴⁶²⁵ ⁴⁶³⁰ ⁴⁶³⁵ ⁴⁶⁴⁰ ⁴⁶⁴⁵ ⁴⁶⁵⁰ ⁴⁶⁵⁵ ⁴⁶⁶⁰ ⁴⁶⁶⁵ ⁴⁶⁷⁰ ⁴⁶⁷⁵ ⁴⁶⁸⁰ ⁴⁶⁸⁵ ⁴⁶⁹⁰ ⁴⁶⁹⁵ ⁴⁷⁰⁰ ⁴⁷⁰⁵ ⁴⁷¹⁰ ⁴⁷¹⁵ ⁴⁷²⁰ ⁴⁷²⁵ ⁴⁷³⁰ ⁴⁷³⁵ ⁴⁷⁴⁰ ⁴⁷⁴⁵ ⁴⁷⁵⁰ ⁴⁷⁵⁵ ⁴⁷⁶⁰ ⁴⁷⁶⁵ ⁴⁷⁷⁰ ⁴⁷⁷⁵ ⁴⁷⁸⁰ ⁴⁷⁸⁵ ⁴⁷⁹⁰ ⁴⁷⁹⁵ ⁴⁸⁰⁰ ⁴⁸⁰⁵ ⁴⁸¹⁰ ⁴⁸¹⁵ ⁴⁸²⁰ ⁴⁸²⁵ ⁴⁸³⁰ ⁴⁸³⁵ ⁴⁸⁴⁰ ⁴⁸⁴⁵ ⁴⁸⁵⁰ ⁴⁸⁵⁵ ⁴⁸⁶⁰ ⁴⁸⁶⁵ ⁴⁸⁷⁰ ⁴⁸⁷⁵ ⁴⁸⁸⁰ ⁴⁸⁸⁵ ⁴⁸⁹⁰ ⁴⁸⁹⁵ ⁴⁹⁰⁰ ⁴⁹⁰⁵ ⁴⁹¹⁰ ⁴⁹¹⁵ ⁴⁹²⁰ ⁴⁹²⁵ ⁴⁹³⁰ ⁴⁹³⁵ ⁴⁹⁴⁰ ⁴⁹⁴⁵ ⁴⁹⁵⁰ ⁴⁹⁵⁵ ⁴⁹⁶⁰ ⁴⁹⁶⁵ ⁴⁹⁷⁰ ⁴⁹⁷⁵ ⁴⁹⁸⁰ ⁴⁹⁸⁵ ⁴⁹⁹⁰ ⁴⁹⁹⁵ ⁵⁰⁰⁰ ⁵⁰⁰⁵ ⁵⁰¹⁰ ⁵⁰¹⁵ ⁵⁰²⁰ ⁵⁰²⁵ ⁵⁰³⁰ ⁵⁰³⁵ ⁵⁰⁴⁰ ⁵⁰⁴⁵ ⁵⁰⁵⁰ ⁵⁰⁵⁵ ⁵⁰⁶⁰ ⁵⁰⁶⁵ ⁵⁰⁷⁰ ⁵⁰⁷⁵ ⁵⁰⁸⁰ ⁵⁰⁸⁵ ⁵⁰⁹⁰ ⁵⁰⁹⁵ ⁵¹⁰⁰ ⁵¹⁰⁵ ⁵¹¹⁰ ⁵¹¹⁵ ⁵¹²⁰ ⁵¹²⁵ ⁵¹³⁰ ⁵¹³⁵ ⁵¹⁴⁰ ⁵¹⁴⁵ ⁵¹⁵⁰ ⁵¹⁵⁵ ⁵¹⁶⁰ ⁵¹⁶⁵ ⁵¹⁷⁰ ⁵¹⁷⁵ ⁵¹⁸⁰ ⁵¹⁸⁵ ⁵¹⁹⁰ ⁵¹⁹⁵ ⁵²⁰⁰ ⁵²⁰⁵ ⁵²¹⁰ ⁵²¹⁵ ⁵²²⁰ ⁵²²⁵ ⁵²³⁰ ⁵²³⁵ ⁵²⁴⁰ ⁵²⁴⁵ ⁵²⁵⁰ ⁵²⁵⁵ ⁵²⁶⁰ ⁵²⁶⁵ ⁵²⁷⁰ ⁵²⁷⁵ ⁵²⁸⁰ ⁵²⁸⁵ ⁵²⁹⁰ ⁵²⁹⁵ ⁵³⁰⁰ ⁵³⁰⁵ ⁵³¹⁰ ⁵³¹⁵ ⁵³²⁰ ⁵³²⁵ ⁵³³⁰ ⁵³³⁵ ⁵³⁴⁰ ⁵³⁴⁵ ⁵³⁵⁰ ⁵³⁵⁵ ⁵³⁶⁰ ⁵³⁶⁵ ⁵³⁷⁰ ⁵³⁷⁵ ⁵³⁸⁰ ⁵³⁸⁵ ⁵³⁹⁰ ⁵³⁹⁵ ⁵⁴⁰⁰ ⁵⁴⁰⁵ ⁵⁴¹⁰ ⁵⁴¹⁵ ⁵⁴²⁰ ⁵⁴²⁵ ⁵⁴³⁰ ⁵⁴³⁵ ⁵⁴⁴⁰ ⁵⁴⁴⁵ ⁵⁴⁵⁰ ⁵⁴⁵⁵ ⁵⁴⁶⁰ ⁵⁴⁶⁵ ⁵⁴⁷⁰ ⁵⁴⁷⁵ ⁵⁴⁸⁰ ⁵⁴⁸⁵ ⁵⁴⁹⁰ ⁵⁴⁹⁵ ⁵⁵⁰⁰ ⁵⁵⁰⁵ ⁵⁵¹⁰ ⁵⁵¹⁵ ⁵⁵²⁰ ⁵⁵²⁵ ⁵⁵³⁰ ⁵⁵³⁵ ⁵⁵⁴⁰ ⁵⁵⁴⁵ ⁵⁵⁵⁰ ⁵⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶⁰ ⁵⁵⁶⁵ ⁵⁵⁷⁰ ⁵⁵⁷⁵ ⁵⁵⁸⁰ ⁵⁵⁸⁵ ⁵⁵⁹⁰ ⁵⁵⁹⁵ ⁵⁶⁰⁰ ⁵⁶⁰⁵ ⁵⁶¹⁰ ⁵⁶¹⁵ ⁵⁶²⁰ ⁵⁶²⁵ ⁵⁶³⁰ ⁵⁶³⁵ ⁵⁶⁴⁰ ⁵⁶⁴⁵ ⁵⁶⁵⁰ ⁵⁶⁵⁵ ⁵⁶⁶⁰ ⁵⁶⁶⁵ ⁵⁶⁷⁰ ⁵⁶⁷⁵ ⁵⁶⁸⁰ ⁵⁶⁸⁵ ⁵⁶⁹⁰ ⁵⁶⁹⁵ ⁵⁷⁰⁰ ⁵⁷⁰⁵ ⁵⁷¹⁰ ⁵⁷¹⁵ ⁵⁷²⁰ ⁵⁷²⁵ ⁵⁷³⁰ ⁵⁷³⁵ ⁵⁷⁴⁰ ⁵⁷⁴⁵ ⁵⁷⁵⁰ ⁵⁷⁵⁵ ⁵⁷⁶⁰ ⁵⁷⁶⁵ ⁵⁷⁷⁰ ⁵⁷⁷⁵ ⁵⁷⁸⁰ ⁵⁷⁸⁵ ⁵⁷⁹⁰ ⁵⁷⁹⁵ ⁵⁸⁰⁰ ⁵⁸⁰⁵ ⁵⁸¹⁰ ⁵⁸¹⁵ ⁵⁸²⁰ ⁵⁸²⁵ ⁵⁸³⁰ ⁵⁸³⁵ ⁵⁸⁴⁰ ⁵⁸⁴⁵ ⁵⁸⁵⁰ ⁵⁸⁵⁵ ⁵⁸⁶⁰ ⁵⁸⁶⁵ ⁵⁸⁷⁰ ⁵⁸⁷⁵ ⁵⁸⁸⁰ ⁵⁸⁸⁵ ⁵⁸⁹⁰ ⁵⁸⁹⁵ ⁵⁹⁰⁰ ⁵⁹⁰⁵ ⁵⁹¹⁰ ⁵⁹¹⁵ ⁵⁹²⁰ ⁵⁹²⁵ ⁵⁹³⁰ ⁵⁹³⁵ ⁵⁹⁴⁰ ⁵⁹⁴⁵ ⁵⁹⁵⁰ ⁵⁹⁵⁵ ⁵⁹⁶⁰ ⁵⁹⁶⁵ ⁵⁹⁷⁰ ⁵⁹⁷⁵ ⁵⁹⁸⁰ ⁵⁹⁸⁵ ⁵⁹⁹⁰ ⁵⁹⁹⁵ ⁶⁰⁰⁰ ⁶⁰⁰⁵ ⁶⁰¹⁰ ⁶⁰¹⁵ ⁶⁰²⁰ ⁶⁰²⁵ ⁶⁰³⁰ ⁶⁰³⁵ ⁶⁰⁴⁰ ⁶⁰⁴⁵ ⁶⁰⁵⁰ ⁶⁰⁵⁵ ⁶⁰⁶⁰ ⁶⁰⁶⁵ ⁶⁰⁷⁰ ⁶⁰⁷⁵ ⁶⁰⁸⁰ ⁶⁰⁸⁵ ⁶⁰⁹⁰ ⁶⁰⁹⁵ ⁶¹⁰⁰ ⁶¹⁰⁵ ⁶¹¹⁰ ⁶¹¹⁵ ⁶¹²⁰ ⁶¹²⁵ ⁶¹³⁰ ⁶¹³⁵ ⁶¹⁴⁰ ⁶¹⁴⁵ ⁶¹⁵⁰ ⁶¹⁵⁵ ⁶¹⁶⁰ ⁶¹⁶⁵ ⁶¹⁷⁰ ⁶¹⁷⁵ ⁶¹⁸⁰ ⁶¹⁸⁵ ⁶¹⁹⁰ ⁶¹⁹⁵ ⁶²⁰⁰ ⁶²⁰⁵ ⁶²¹⁰ ⁶²¹⁵ ⁶²²⁰ ⁶²²⁵ ⁶²³⁰ ⁶²³⁵ ⁶²⁴⁰ ⁶²⁴⁵ ⁶²⁵⁰ ⁶²⁵⁵ ⁶²⁶⁰ ⁶²⁶⁵ ⁶²⁷⁰ ⁶²⁷⁵ ⁶²⁸⁰ ⁶²⁸⁵ ⁶²⁹⁰ ⁶²⁹⁵ ⁶³⁰⁰ ⁶³⁰⁵ ⁶³¹⁰ ⁶³¹⁵ ⁶³²⁰ ⁶³²⁵ ⁶³³⁰ ⁶³³⁵ ⁶³⁴⁰ ⁶³⁴⁵ ⁶³⁵⁰ ⁶³⁵⁵ ⁶³⁶⁰ ⁶³⁶⁵ ⁶³⁷⁰ ⁶³⁷⁵ ⁶³⁸⁰ ⁶³⁸⁵ ⁶³⁹⁰ ⁶³⁹⁵ ⁶⁴⁰⁰ ⁶⁴⁰⁵ ⁶⁴¹⁰ ⁶⁴¹⁵ ⁶⁴²⁰ ⁶⁴²⁵ ⁶⁴³⁰ ⁶⁴³⁵ ⁶⁴⁴⁰ ⁶⁴⁴⁵ ⁶⁴⁵⁰ ⁶⁴⁵⁵ ⁶⁴⁶⁰ ⁶⁴⁶⁵ ⁶⁴⁷⁰ ⁶⁴⁷⁵ ⁶⁴⁸⁰ ⁶⁴⁸⁵ ⁶⁴⁹⁰ ⁶⁴⁹⁵ ⁶⁵⁰⁰ ⁶⁵⁰⁵ ⁶⁵¹⁰ ⁶⁵¹⁵ ⁶⁵²⁰ ⁶⁵²⁵ ⁶⁵³⁰ ⁶⁵³⁵ ⁶⁵⁴⁰ ⁶⁵⁴⁵ ⁶⁵⁵⁰ ⁶⁵⁵⁵ ⁶⁵⁶⁰ ⁶⁵⁶⁵ ⁶⁵⁷⁰ ⁶⁵⁷⁵ ⁶⁵⁸⁰ ⁶⁵⁸⁵ ⁶⁵⁹⁰ ⁶⁵⁹⁵ ⁶⁶⁰⁰ ⁶⁶⁰⁵ ⁶⁶¹⁰ ⁶⁶¹⁵ ⁶⁶²⁰ ⁶⁶²⁵ ⁶⁶³⁰ ⁶⁶³⁵ ⁶⁶⁴⁰ ⁶⁶⁴⁵ ⁶⁶⁵⁰ ⁶⁶⁵⁵ ⁶⁶⁶⁰ ⁶⁶⁶⁵ ⁶⁶⁷⁰ ⁶⁶⁷⁵ ⁶⁶⁸⁰ ⁶⁶⁸⁵ ⁶⁶⁹⁰ ⁶⁶⁹⁵ ⁶⁷⁰⁰ ⁶⁷⁰⁵ ⁶⁷¹⁰ ⁶⁷¹⁵ ⁶⁷²⁰ ⁶⁷²⁵ ⁶⁷³⁰ ⁶⁷³⁵ ⁶⁷⁴⁰ ⁶⁷⁴⁵ ⁶⁷⁵⁰ ⁶⁷⁵⁵ ⁶⁷⁶⁰ ⁶⁷⁶⁵ ⁶⁷⁷⁰ ⁶⁷⁷⁵ ⁶⁷⁸⁰ ⁶⁷⁸⁵ ⁶⁷⁹⁰ ⁶⁷⁹⁵ ⁶⁸⁰⁰ ⁶⁸⁰⁵ ⁶⁸¹⁰ ⁶⁸¹⁵ ⁶⁸²⁰ ⁶⁸²⁵ ⁶⁸³⁰ ⁶⁸³⁵ ⁶⁸⁴⁰ ⁶⁸⁴⁵ ⁶⁸⁵⁰ ⁶⁸⁵⁵ ⁶⁸⁶⁰ ⁶⁸⁶⁵ ⁶⁸⁷⁰ ⁶⁸⁷⁵ ⁶⁸⁸⁰ ⁶⁸⁸⁵ ⁶⁸⁹⁰ ⁶⁸⁹⁵ ⁶⁹⁰⁰ ⁶⁹⁰⁵ ⁶⁹¹⁰ ⁶⁹¹⁵ ⁶⁹²⁰ ⁶⁹²⁵ ⁶⁹³⁰ ⁶⁹³⁵ ⁶⁹⁴⁰ ⁶⁹⁴⁵ ⁶⁹⁵⁰ ⁶⁹⁵⁵ ⁶⁹⁶⁰ ⁶⁹⁶⁵ ⁶⁹⁷⁰ ⁶⁹⁷⁵ ⁶⁹⁸⁰ ⁶⁹⁸⁵ ⁶⁹⁹⁰ ⁶⁹⁹⁵ ⁷⁰⁰⁰ ⁷⁰⁰⁵ ⁷⁰¹⁰ ⁷⁰¹⁵ ⁷⁰²⁰ ⁷⁰²⁵ ⁷⁰³⁰ ⁷⁰³⁵ ⁷⁰⁴⁰ ⁷⁰⁴⁵ ⁷⁰⁵⁰ ⁷⁰⁵⁵ ⁷⁰⁶⁰ ⁷⁰⁶⁵ ⁷⁰⁷⁰ ⁷⁰⁷⁵ ⁷⁰⁸⁰ ⁷⁰⁸⁵ ⁷⁰⁹⁰ ⁷⁰⁹⁵ ⁷¹⁰⁰ ⁷¹⁰⁵ ⁷¹¹⁰ ⁷¹¹⁵ ⁷¹²⁰ ⁷¹²⁵ ⁷¹³⁰ ⁷¹³⁵ ⁷¹⁴⁰ ⁷¹⁴⁵ ⁷¹⁵⁰ ⁷¹⁵⁵ ⁷¹⁶⁰ ⁷¹⁶⁵ ⁷¹⁷⁰ ⁷¹⁷⁵ ⁷¹⁸⁰ ⁷¹⁸⁵ ⁷¹⁹⁰ ⁷¹⁹⁵ ⁷²⁰⁰ ⁷²⁰⁵ ⁷²¹⁰ ⁷²¹⁵ ⁷²²⁰ ⁷²²⁵ ⁷²³⁰ ⁷²³⁵ ⁷²⁴⁰ ⁷²⁴⁵ ⁷²⁵⁰ ⁷²⁵⁵ ⁷²⁶⁰ ⁷²⁶⁵ ⁷²⁷⁰ ⁷²⁷⁵ ⁷²⁸⁰ ⁷²⁸⁵ ⁷²⁹⁰ ⁷²⁹⁵ ⁷³⁰⁰ ⁷³⁰⁵ ⁷³¹⁰ ⁷³¹⁵ ⁷³²⁰ ⁷³²⁵ ⁷³³⁰ ⁷³³⁵ ⁷³⁴⁰ ⁷³⁴⁵ ⁷³⁵⁰ ⁷³⁵⁵ ⁷³⁶⁰ ⁷³⁶⁵ ⁷³⁷⁰ ⁷³⁷⁵ ⁷³⁸⁰ ⁷³⁸⁵ ⁷³⁹⁰ ⁷³⁹⁵ ⁷⁴⁰⁰ ⁷⁴⁰⁵ ⁷⁴¹⁰ ⁷⁴¹⁵ ⁷⁴²⁰ ⁷⁴²⁵ ⁷⁴³⁰ ⁷⁴³⁵ ⁷⁴⁴⁰ ⁷⁴⁴⁵ ⁷⁴⁵⁰ ⁷⁴⁵⁵ ⁷⁴⁶⁰ ⁷⁴⁶⁵ ⁷⁴⁷⁰ ⁷⁴⁷⁵ ⁷⁴⁸⁰ ⁷⁴⁸⁵ ⁷⁴⁹⁰ ⁷⁴⁹⁵ ⁷⁵⁰⁰ ⁷⁵⁰⁵ ⁷⁵¹⁰ ⁷⁵¹⁵ ⁷⁵²⁰ ⁷⁵²⁵ ⁷⁵³⁰ ⁷⁵³⁵ ⁷⁵⁴⁰ ⁷⁵⁴⁵ ⁷⁵⁵⁰ ⁷⁵⁵⁵ ⁷⁵⁶⁰ ⁷⁵⁶⁵ ⁷⁵⁷⁰ ⁷⁵⁷⁵ ⁷⁵⁸⁰ ⁷⁵⁸⁵ ⁷⁵⁹⁰ ⁷⁵⁹⁵ ⁷⁶⁰⁰ ⁷⁶⁰⁵ ⁷⁶¹⁰ ⁷⁶¹⁵ ⁷⁶²⁰ ⁷⁶²⁵ ⁷⁶³⁰ ⁷⁶³⁵ ⁷⁶⁴⁰ ⁷⁶⁴⁵ ⁷⁶⁵⁰ ⁷⁶⁵⁵ ⁷⁶⁶⁰ ⁷⁶⁶⁵ ⁷⁶⁷⁰ ⁷⁶⁷⁵ ⁷⁶⁸⁰ ⁷⁶⁸⁵ ⁷⁶⁹⁰ ⁷⁶⁹⁵ ⁷⁷⁰⁰ ⁷⁷⁰⁵ ⁷⁷¹⁰ ⁷⁷¹⁵ ⁷⁷²⁰ ⁷⁷²⁵ ⁷⁷³⁰ ⁷⁷³⁵ ⁷⁷⁴⁰ ⁷⁷⁴⁵ ⁷⁷⁵⁰ ⁷⁷⁵⁵ ⁷⁷⁶⁰ ⁷⁷⁶⁵ ⁷⁷⁷⁰ ⁷⁷⁷⁵ ⁷⁷⁸⁰ ⁷⁷⁸⁵ ⁷⁷⁹⁰ ⁷⁷⁹⁵ ⁷⁸⁰⁰ ⁷⁸⁰⁵ ⁷⁸¹⁰ ⁷⁸¹⁵ ⁷⁸²⁰ ⁷⁸²⁵ ⁷⁸³⁰ ⁷⁸³⁵ ⁷⁸⁴⁰ ⁷⁸⁴⁵ ⁷⁸⁵⁰ ⁷⁸⁵⁵ ⁷⁸⁶⁰ ⁷⁸⁶⁵ ⁷⁸⁷⁰ ⁷⁸⁷⁵ ⁷⁸⁸⁰ ⁷⁸⁸⁵ ⁷⁸⁹⁰ ⁷⁸⁹⁵ ⁷⁹⁰⁰ ⁷⁹⁰⁵ ⁷⁹¹⁰ ⁷⁹¹⁵ ⁷⁹²⁰ ⁷⁹²⁵ ⁷⁹³⁰ ⁷⁹³⁵ ⁷⁹⁴⁰ ⁷⁹⁴⁵ ⁷⁹⁵⁰ ⁷⁹⁵⁵ ⁷⁹⁶⁰ ⁷⁹⁶⁵ ⁷⁹⁷⁰ ⁷⁹⁷⁵ ⁷⁹⁸⁰ ⁷⁹⁸⁵ ⁷⁹⁹⁰ ⁷⁹⁹⁵ ⁸⁰⁰⁰ ⁸⁰⁰⁵ ⁸⁰¹⁰ ⁸⁰¹⁵ ⁸⁰²⁰ ⁸⁰²⁵ ⁸⁰³⁰ ⁸⁰³⁵ ⁸⁰⁴⁰ ⁸⁰⁴⁵ ⁸⁰⁵

Лейла ТАБУКАШВИЛИ

«ТБИЛИСИ МОЙ И ПИРОСМАНИ»

«Тбилиси мой и Пиросмани» — так назвал цикл своих работ заслуженный художник республики Григол Чиринашвили. Создавая первую картину этого цикла, художник, по-видимому, и не предполагал, что мир Пиросмани станет для него неиссякаемым источником вдохновения. Не думал он, конечно, и о том, что смысловым ядром, объединяющим в единое целое обширный цикл картин, послужит стихотворная строка Ладос Асатиани. Однако строка пришлась впору, так же как и следующая за ней — «не знаю сам, за что я вас люблю...»

Действительно, эта большая любовь к художнику и городу ощущается во всех тридцати картинах Г. Чиринашвили, составляющих цикл-посвящение. Эти совершенно разные по своим тематическим мотивам полотна, среди которых сам Пиросмани запечатлен всего на нескольких, с неторопливостью и изящной простотой повествуют о жизни Тбилиси начала нашего столетия, о его кривых улочках и тесных двориках, винных погребках и лавках торговцев, духанах и пекарнях... О всех тех местах, где бывал великий художник-самоучка, где он поднимал стакан за дружеским застольем, где он писал свои картины, бродил без цели, отдаваясь неясным мечтам... Весь этот мир — то будто бы увиденный издали, то фрагментарно выдвинутый вперед, настолько материальный, что хочется дотронуться до него рукой, — предстает перед нами во всей своей полноте, позволяет заглянуть в жизнь города и его обитателей, в его закоулки, откуда вдруг возникает призрак Пиросмани... Мы идем вслед за ним и уже его глазами видим весь этот мир — мир радости и веселья, меч-



«Синяя скатерть».

ты и печали, который раскрывается перед нами то в красочно раскинувшейся на изумрудной траве синей скатерти, уставленной нехитрой снедью, то в собранном на скорую руку угощении в укромном углу марани, а то вдруг мы оказываемся в мастерской сапожника, приятеля Никалы, или в лавке торговца сыром, где все предметы — и уставленные банками полки, и головки сыра, и даже весы — излучают особое тепло и красоту человеческого бытия... И наконец полностью воссоздает знакомый нам закуток под лестницей старого дома, где провел свои последние дни бесприютный, больной Пиросмани.

Автор полотен глубоко прочувствовал неповторимый аромат старого Тбилиси и нашел верную художественную форму его воплощения. Глубокий реализм и поэтичная выразительность этих полотен обусловлены высоким профессионализмом и мастерством художника, его богатой фантазией, вкусом и тактом. В картинах Григола Чиринашвили выпукло представлен облик предметов, наделенных конкретно-исторической ценностью. Вместе с тем эти предметные образы, связанные с внутренним содержанием полотен, в целом создают красноречивый художественный «ансамбль», выражающий лицо времени и его дух, безошибочно улавливаемый зрителем. Это



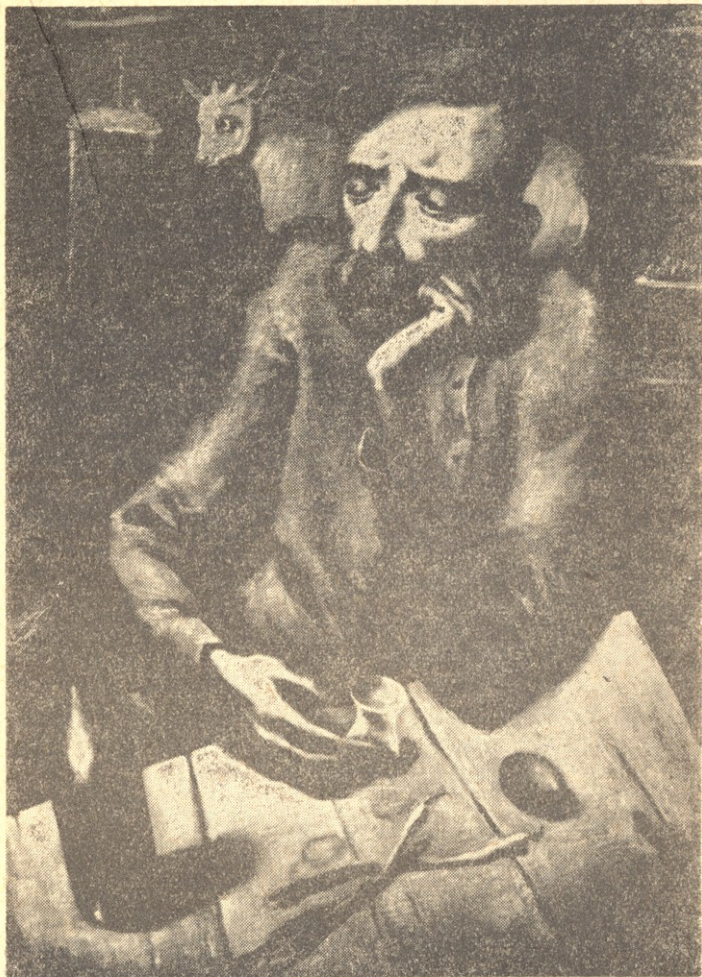
«Вернисаж Пиросмани».

предметный мир, созданный и детализированный в соответствии с принципом классической живописи, нигде не переходит в натуралистическую безликость, не вызывает ощущение прилежного копирования, стремления к абсолютному внешнему сходству, ибо детали здесь играют существенную роль, живут собственной, самостоятельной жизнью. Здесь все говорит само за себя, свидетельствуя о жизни людей, которые владели этими вещами, жили в их окружении. Например, «Окошко в Мирзаани» — это один из малюсеньких фрагментов картины жизни, который, на первый взгляд, ни о чем не повествует, но при этом с удивительной, почти осязаемой правдивостью раскрывает перед нами быт обитателей бедного деревенского дома: этот уголок комнаты пронизан теплом и уютом человеческого существования — на подоконнике забытое вязанье и глиняный кувшин, рядом на стене керосиновая лампа, залотевшее окно не может скрыть студеного дыхания зимы... Этот маленький кусочек интерьера, проникнутый эмоциональностью документального кадра, — художественное воплощение непосредственно пережитого и переосмысленного художником. Окутанные серебристой дымкой стены, осыпавшаяся местами штукатурка, освещенные слабым мерцающим светом предметы домашнего обихода производят впечатление одушевленных существ, за которыми угадываются люди, когда-то жившие здесь, пользовавшиеся этими вещами...

Такое же ощущение вызывают и другие полотна: «В марани», «Уютный уголок», «В семье знакомых», «Грузинский хлеб», «Помянули», «Голубой духан» и другие. Эти картины также сродни кинокадрам, они привлекают внимание связанными художественно-смысловыми нитями предметными деталями, которые выполнены не по принципу натюрморта, хотя главное в них — предметы. К жанру натюрморта не принадлежат и такие полотна, пространство которых почти заполнено фруктами, пиршественным столом или полками, уставленными самыми разнообразными сосудами для вина («Маленький духан», «Синяя скатерть», «В духане»). Само собой разумеется, что они и задуманы художником не как натюрморты. Отдаленные от специфической структуры этого жанра, названные полотна заключают в себе более глубокое содержание — признаки времени и социальной принадлежности, колорит национального быта и обусловленную всем этим художественно-поэтическую мысль.

Образность этих полотен определяется таким их осмысле-

нием, которое привлекает внимание зрителя не к предметным группам самим по себе, какими бы впечатляющими они ни были, а к образно обозначенной среде, в которой эти предметы «живут», будь то предвещающее весну, усеянное белыми ромашками зеленое поле («Синяя скатерть») или прилепившаяся на краю улицы тесная каморка сапожника («В мастер-



«В день пасхи».

ской приятеля»), лоток с полотняным навесом («Мадонный духан») или мощный булыжником отрезок улочки («Вывеска»). Все эти картины вызывают у зрителя определенные мысли и настроения, связанные с повседневным, повседневным бытием человека.

Григолу Чиринашвили удалось по-своему, в отличной от других художников манере, воспроизвести на полотне поэзию тбилисской старины, поэзию уединенных и уютных тбилисских улочек, районов, дворигов. При изображении городских пейзажей в основе замысла художника также лежит принцип образности, картинности. Художник смело прибегает к приему преувеличения, утрирования, к четким ракурсам — иногда он с высоты вглядывается в даль, в перспективу узкой улочки, иногда же выбирает нижнюю точку, откуда переплетаются неровные линии изъеденных временем стен и балконов. Спокойно, гармонично переходят друг в друга различные краски этих уютных домиков, улочек, дворов, освещенных палящим августовским солнцем или погруженных в синий сумрак рассвета. Композиционно-цветовое решение каждого из этих пейзажных мотивов служит созданию эмоциональной тональности, характерной для того или иного уголка города. И хотя, благодаря использованному приему обобщения-преувеличения знакомый мир предстает перед нами в своеобразном, несколько необычном и неожиданном ракурсе, мы всецело поддаемся этой гиперболизации, верим в нее, ибо в полотнах Григола Чиринашвили сохранена художественная грань, благодаря которой задача создания образа не выходит за рамки реальности. Вспомним картины «Рассвет», «Август», «Балконы», «Двор».

С точки зрения раскрытия художественной мысли одно из наиболее запоминающихся полотен — «Вернисаж Пиросмани». В глубине узкой улочки мы видим медленно бредущего художника. В руке у него ведро с краской. Здесь, на этих улочках и улицах, прошла, пробежала вся его жизнь, оставив по себе память на стенах зданий и внутри них.

Интересно и оригинально задуманная композиция содержит и символический план, еще более усиливающий впечатление, производимое полотном. Картина выдержана в светлых тонах, однако созданное этими тонами общее светлое настроение содержит в себе и печальную нотку, которая исходит от самой фигуры бредущего по старым улочкам художника, фигуры, олицетворяющей одиночество. Общая социально-эпохальная атмосфера, пронизывающая все картины Григола

Чиринашвили этого цикла, в «Вернисаже Пиросмани» ^{приобр.} ретает еще более острую эмоциональную окраску. 06.03.59 202 010333

Сам Пиросмани изображен всего на нескольких полотнах. Человек беспредельно одинокий, вдохновенный художник, мечтатель — таким предстает он на портретах, созданных Григолом Чиринашвили («У портрета Маргариты», «В день пасхи», «Вдохновение»). Картина «Неосуществимая мечта» навеяна высказанным как-то Пиросмани в обществе художников предложением — собираться время от времени всем вместе и за чашкой чая беседовать об искусстве. На полотне, в правом углу которого видна изображенная крупным планом часть фигуры художника, перед нашими глазами открывается во всей своей предметной выпуклости и своеобразной красоте формы и фактуры покрытый скатертью стол с самоваром и чайными стаканами. Так привлекательно и реально выглядит этот мир в мечтах самого Пиросмани, таким он видится ему, погруженному в свои мысли, — будто в живое существо. Одушевленные предметы незримыми нитями связаны с людьми, которые должны же когда-нибудь понять его, Пиросмани, должны разобраться в том, жизненно важном, в чем так и не разобрался он сам...

И в «Портрете Пиросмани», и в тех нескольких картинах, на которых художник изображен непосредственно в жизненных ситуациях, Григол Чиринашвили достигает достаточно убедительной портретной и психологической характеристики. В картине «Вдохновение» Пиросмани, стоя на коленях, рисует оленя. Вся атмосфера убогого подвала проникнута спокойствием, какой-то умиротворенной нежностью, вдохновением свыше.

Думается, этот цикл картин Григола Чиринашвили не только займет достойное место среди произведений о Пиросмани, созданных в разное время и в разных областях искусства, но и станет заметным явлением как в современной грузинской живописи в целом, так и в творческой биографии самого художника.

◆

Дмитрий Алексидзе

и его новые ученики

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ Дмитрия Алексидзе поистине поразительна. По своим гражданским и человеческим качествам он принадлежит к той плеяде деятелей, про которых можно сказать, что, если они обладают каким-то духовным сокровищем, то сокровище это — несомненно талант любви. И этот свой талант Д. Алексидзе щедро «тратит» прежде всего на тех, кто избрал делом своей жизни искусство, — прежде всего, но не только.

Д. Алексидзе знают практически все — знают его размашистую, стремительную походку, изящные, джентльменские манеры, благожелательность, его приветствия при встрече и, что главное, его всегдашнюю сердечность в общении. Все эти качества гармонически сочетаются в его личности, проявляясь в отношениях с коллегами, друзьями, знакомыми. И еще — редко в ком можно встретить столько сочувствия и понимания, как в Д. Алексидзе. Чужую боль он воспринимает и переживает как собственную, хотя внешне и здесь не изменяет ему его всегдашний изысканный артистизм, делающий общение с ним таким же праздничным, как праздничны поставленные им спектакли. Его неизменная готовность помочь, поддержать вызывает восхищение, невольно рождающее вопрос — откуда эта бьющая ключом энергия, эта душевная отдача, как он выдерживает эту непосильную нагрузку? Но эти вопросы возникают только у собеседника, сам же Д. Алексидзе, кажется, никогда и не задумывается над ними — для этого у него попросту нет времени.

Каждый день Д. Алексидзе заполнен до отказа, и тем не менее он всегда находит время для очередного посетителя — выслушает, посоветует, поможет, и все это не спеша, не нервничая, не демонстрируя своей занятости. Каждую новую работу он начинает спокойно, не торопясь, будто заранее предчувствуя и предвкушая мудрость познания истины, радость открытия, тепло человеческих встреч. Этот незатухающий, неиссякаемый творческий настрой — отголосок той

великой любви к людям и к жизни в целом, которая втайне от него самого постоянно живет в нем.

И все же главное для Д. Алексидзе — театр, искусство, безраздельно господствующее в его мыслях и чувствах. «Ищите и обряцете», — гласит древняя мудрость, и Д. Алексидзе ищет, ищет новых путей развития современного искусства, ищет неустанно и непрерывно.

Режиссерский талант Д. Алексидзе с самого же начала оказался неразрывно связанным с развитием героического театра, хотя свой путь в искусстве он начал отнюдь не как апологет этого театра. В него поверили с первых же его шагов на театральном поприще, а немного позднее, когда он «перебродил» как режиссер, постепенно прояснились и главные тенденции «его театра», нашедшие выражение в таких поставленных им спектаклях, как «Невеста по объявлению» Гольдони, «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, «Его звезда» И. Мосашвили, «Семья» И. Попова и др. Вскоре стало очевидно и то, что Д. Алексидзе не следует стереотипу утвердившихся в театре традиций, что у него уже выработался свой, оригинальный стиль сценического воплощения комедийных пьес.

Поэтому сегодня мы уже вправе говорить о собственной, алексидзевской комедии, о его самобытном юморе с заложенным в нем стихийным комизмом, о его природно-эксцентрическом отношении к окружающему миру, а точнее — об артистическом зародыше пластического воплощения внутреннего мира человека, без которого невозможно представить себе самобытный юмор. С каждым новым спектаклем Д. Алексидзе усиливался и продолжает усиливаться живой зрительский интерес к юмористическому замыслу художника, и это не только в комедиях, но и в психологической драме с ее проникновением в глубочайшие слои человеческой души и вынесением на первый план социальных мотивов. И, пожалуй, можно предположить, что именно в природе этого стихийного, эксцентрического комизма следует искать те новые черты эпического театра, которые отличают его сегодняшние спектакли, равно как и те средства художественной изобразительности, которые присущи его режиссерской манере и имеют целью максимальное приближение к современности. Д. Алексидзе принадлежит к той плеяде художников, которой блестяще удается совместить разноплановые начала, провидеть перспективу, почувствовать новое в искусстве и увязать надвременное с современным.

Д. Алексидзе сделал в искусстве смелый шаг, который не остался незамеченным — он сразу же привлек внимание критики и театральной общественности.

Что же обусловило такое внимание к творчеству Д. Алексидзе? Разве в довоенный и послевоенный периоды в театре Руставели не было других режиссеров, в постановках которых нашло бы выражение новое направление в искусстве? Ведь именно в театре Руставели берут свое начало тенденции глубинного и многостороннего проникновения в действительность.

Общеизвестно, что в репертуаре руставелевцев большое место занимали пьесы героического и историко-патриотического характера, пользовавшиеся заслуженным успехом у зрителей, например, пьеса С. Шаншиашвили «Герои Крцаниси» (постановка Д. Алексидзе), пронизанная пафосом борьбы с врагами Родины, и не одна она. Однако с течением времени героико-монументальный стиль театра перестал оказывать магическое действие на массового зрителя. В 50-х годах спектакль М. Туманишвили «Люди, будьте бдительны» и другие такие же исполненные жизненной правды спектакли с очевидностью возвестили, что в творческом стиле грузинского театра появились новые интонации, совмещающие в себе тончайшие психологические нюансы с романтически окрашенным изображением действительности.

Внутренняя сущность этого явления была сложной и одновременно многозначной. Это было непривычное для театра стилевое направление, прокладывающее путь на сцену реальной действительности. Театр начинал говорить языком современности.

Для этого периода характерно единство сложных и противоречивых воззрений — поиски новых форм и стремление к многостороннему отображению действительности. Этот процесс происходил параллельно в творчестве нескольких одаренных, обладающих собственной манерой художников. Именно в этот период Д. Алексидзе выступил со своей концепцией понимания личности героя.

Можно сказать, что этой своеобразной концепцией Д. Алексидзе во многом способствовал разрушению уже устаревших пластических форм и осознанию новых поэтических требований. Выдвижение им новой эстетической программы совпало со своего рода переломом в жизни театра Руставели, проявившимся в свободном доступе на сцену всех жанров и стилей.

Конечно, становление нового стиля происходит не сразу, и тем не менее во всех постановках Д. Алексидзе ощущался его собственный, проникнутый подлинным вдохновением черк, неизменный вкус, неустанные поиски возможностей современного театра, стремление выдвинуть на первый план проблему человека — человека, решающего сложные проблемы времени в хаосе противоречивых, а зачастую и противоположающихся чувств. Д. Алексидзе как художнику более близок человек с высоким духовным настроем, сильной волей, непоколебимым стремлением к цели. Именно это и обусловило в 60-е годы выбор им репертуара. Если в таких героях, как Эдип, Антигона, несколько и ослаблена патетика сильного начала, зато их внутренний мир содержит в себе безошибочные, хотя и переменчивые симптомы душевных переживаний, те глубинные пласты, в которых бушует инстинкт разрушения и трагедия ревности, причиняющие почти физическую боль, а также не дающие покоя мысли о родине и служении своему народу, о национальных и всечеловеческих идеалах. Эти мысли волновали самого режиссера, способствовали формированию «его теории», на фоне которой жили герои поставленных им спектаклей. Эти герои, как правило, — максималисты, ибо соотнесены с величием и вечностью природы, а поскольку трагедией является сама их жизнь — это трагедия бескомпромиссной личности, судьба которой переплетается с судьбой народа. Другая жизнь для них немислима. В творчестве Д. Алексидзе они изображены просто, серьезно и мужественно.

Поэтический театр Д. Алексидзе зародился и сформировался в 40—50-х годах, в военный и послевоенный периоды, когда сила и величие человеческой личности проявились во всей своей полноте. Здесь же следует добавить, что Д. Алексидзе остался верен своей концепции изображения человека до конца, ибо видел в ней безошибочные признаки возрождения грузинского театра, путь к сценическому воплощению национального духа. По его глубокому убеждению, только в таком театре могло найти более полное отражение течение нашей жизни во всей ее сложности и глубине, надежды и чаяния народа, все богатство природы человека, преобразующего эту жизнь и по праву считающегося венцом творения.

Таким образом, уже с 40-х годов в творчестве Д. Алексидзе проявляется стремление к героико-романтическому театру, постепенно усиливающееся и в 50-х — середине 60-х годов принимающее характер сформировавшейся системы —

системы, исполненной нового содержания, отвечающего требованиям современной эпохи.

Спектакли Д. Алексидзе обогатили грузинский театр. Они представляли собой новое веяние в театральной жизни Грузии, чему в немалой степени способствовало то, что воплощение режиссерских идей Д. Алексидзе было возложено на таких выдающихся актеров, как Акакий Васадзе, Акакий Хорава и другие.

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что в середине 60-х годов Д. Алексидзе был одним из самых блестящих деятелей грузинского театра, бесспорным лидером героического театра и последним его апологетом. В этот период им поставлены спектакли, оказавшие большое влияние на грузинский театр в целом. Образно выражаясь, «огни рампы» этих спектаклей достигали весьма отдаленных пространств. Всеобщее признание получила «Антигона», поставленная на сцене Киевского театра, этапным спектаклем стал софокловский «Эдип» в постановке театра Руставели, отмеченный неожиданными находками в сценическом раскрытии этой неозримой темы.

В этот период Д. Алексидзе намеренно обращается к сложным художественным полотнам, покоряя все новые высоты их сценического воплощения. В его спектаклях грандиозные планы героического монументализма получают глубокое философское осмысление. Его режиссерский почерк характеризует разработка героического и патетического в психологическом плане, что является продолжением традиций К. Марджанишвили и С. Ахметели. Этим и объясняется тот факт, что лучшие спектакли Д. Алексидзе отличаются яркой театральностью, изобразительной пластичностью, динамичностью и — что главное — глубиной. Его режиссерская палитра и искусство раскрытия характера гармонически сочетаются с методами К. Станиславского, с принципами театральности Е. Вахтангова и К. Марджанишвили, с пластическими изобразительными формами С. Ахметели и естественной условностью поведения персонажа в рамках т. н. предыгры Мейерхольда. Это и не удивительно, поскольку Д. Алексидзе имел возможность лично наблюдать творчество великих мастеров сцены и его собственный режиссерский стиль складывался под их непосредственным влиянием.

Шли годы, принося с собой новые мысли, новые формы, постепенно убеждая режиссера в правильности выбранного им пути, в том, что подлинное искусство само разрушает уста-

ревшие нормы, создавая на их месте нечто новое. И тем не менее это новое зарождается и прокладывает себе путь в острейшей полемике и бескомпромиссной борьбе, а следовательно, истинный художник — это всегда борец за утверждение новых идеологических и эстетических норм, и путь его тернист и труден.

Именно таким художником-борцом и является Д. Алексидзе, ему не свойственно отказываться от поставленной цели, отступать или идти на уступки. Напротив, ему органически присущ пафос самоотверженной борьбы за свои убеждения, за воплощение в жизнь своих заветных чаяний.

Поэтому сегодня, когда грузинское театральное искусство разнообразием и богатством своих стилевых направлений в режиссуре привлекло к себе внимание мировой общественности, естественно возникает вопрос: в каком соотношении находится искусство Д. Алексидзе с сегодняшней грузинской режиссурой, или иначе — какое влияние оказала творческая индивидуальность этого замечательного художника на формирование самобытного дарования его учеников? Когда речь заходит о самобытности новейшего грузинского театрального искусства, в первую очередь обращают на себя внимание не только разнообразные жанрово-стилевые проявления процесса утверждения основных признаков эпического театра, но и различные концепции раскрытия характера личности, т. е. тенденция современного грузинского искусства к неоднозначному воплощению принципов эпического театра.

Возникновение в театре эпического потока способствовало расширению возможностей драмы, более глубокому проникновению в потаенную суть природы героя.

Д. Алексидзе — один из блестящих представителей плеяды тех славных деятелей, которые уделяют особое внимание воспитанию молодого поколения и не жалеют сил, чтобы пробудить в нем творческое начало. Не одно поколение прошло через руки Д. Алексидзе, и многие из его учеников впоследствии прославили свое имя — создали в режиссуре свой собственный стиль, отличающийся от стиля учителя...

Вот уже 20 лет Д. Алексидзе с высоким чувством ответственности и присущей ему требовательностью к себе служит делу воспитания нашей театральной молодежи. Выполнению этой задачи он отдает весь свой богатый опыт, талант, душевную энергию, причем главное место в этой его деятельности отводится исследованию принципов эпического театра. Исходя из эстетики этого театра, он развивает в своих учениках сло-

жное искусство перевоплощения личности в персонаж, внимание противоречивого характера индивидуальной природы человека, умение отчуждаться от сущности явления, определять, насколько поведение человека соответствует его подлинным идеалам, как направлять творческий процесс, чтобы при решении образа актер мог найти нужную театрализованную реальность, способную приобщить зрителя к новому чудесному миру во всей его сложности и глубине.

Этими уникальными в своем роде чертами отмечены ранние комедийные спектакли Д. Алексидзе, ими же руководствуется он сейчас при воспитании молодого поколения.

Подтверждением этого является хотя бы курсовая работа студентов XV группы III курса актерского факультета Тбилисского театрального института — постановка комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам это понравится», привлекающая внимание не только своими художественными достоинствами, но главное — той заботой, с которой относятся в институте к формированию творческой индивидуальности будущих актеров и режиссеров.

Феномен игры шекспировской комедии осмыслен Д. Алексидзе в этом спектакле как средство выявления богатых возможностей человека, поэтому не случайно зрелищный арсенал спектакля — благодаря выявлению личностных способностей действующих лиц — чрезвычайно многогранен: его отличает живой, остроумный диалог, необычайная активность, находчивость и изобретательность, богатство фантазии и неуклонное стремление к достижению намеченной цели.

Все эти качества служат в спектакле одной задаче: персонажи должны носить маску, скрывающую их истинное лицо и намерения до тех пор, пока они не достигнут желанной цели.

Поставленная в пьесе проблема подлинного лица и маски или подлинной сущности человека и его поведения разрешена в спектакле в соответствии с концепцией самого Шекспира — весь мир — театр. «Будь тем, кем должен быть, и вровень станешь с тем, чего страшишься», — говорит Оливия. «Пусть все на месте на своем останется, и мы достигнем праздничного братства душ», — вторит ей Орсино.

Благодаря этой четкой мысли разрешение конфликта в пьесе совпадает с концепцией личности, которую воплощает в своих постановках Д. Алексидзе.

В самой пьесе, как и в ее режиссерском осмыслении в целом, герои отличаются внутренней свободой и раскрепощен-

ностью духа (в противовес человеку средневековья), их интересы диаметрально противоположны, и в столкновении этих интересов раскрывается природа личности. Обе стороны в острую борьбу, и те и другие защищаются смело и находчиво. Этим и отличаются они от тех представителей буржуазного общества, которые достигли той степени отчуждения, когда вынуждены носить маску постоянно.

Режиссерский замысел Д. Алексидзе проникнут глубокой мыслью — показать, с помощью каких средств происходит внутреннее и социальное раскрепощение человека эпохи Возрождения, поэтому на передний план выдвинута тема величия личности, безграничности ее возможностей в осуществлении намеченной цели. Природа сама создает характеры, порождающие свойственные пьесе Шекспира запутанные коллизии, которые в свою очередь требуют от человека ношения маски. Виолу принимают за ее брата Себастьяна. Сходство близнецов вызывает ситуацию, в которой человек является не тем, за кого его принимают. Так возникает проблема раздвоения сущности и благодаря сходству через игру реализуется двойственность, которой наделила человека сама природа.

Через феномен игры складывается и изобразительная структура спектакля. Этот феномен определяет и его сценографию, его условную сущность, мизансцены и пластические формы, предшествующие самой игре. Спектакль осмыслен Д. Алексидзе в художественных аспектах эпического театра. Он начинается с пролога и завершается эпилогом, в нем несколько усилена роль шута, исполняющего функцию ведущего, т. е. организатора тех событий, которые разыгрываются на сцене. Переход от одного эпизода к другому обусловлен отношением к событиям актеров и происходит так, будто актеры сами создают сценографию, управляют декорациями и другими театральными аксессуарами. Одним словом, спектакль построен в соответствии с эстетической структурой эпического театра, и хотя условность режиссерской палитры далека от композиции пьесы, это отнюдь не заглушает в ней шекспировскую концепцию раскрытия характера личности.

Пролог и эпилог, которых нет в пьесе и которые являются режиссерской находкой Д. Алексидзе, нужны не только для отвлечения от сюжетной линии, но и для того, чтобы более выпукло представить роль главных компонентов, пластический образ зрелищности, сценографическую композицию спектакля — эту «сцену на сцене», где персонажи в каждом

эпизоде сами переставляют декорации, тем самым как бы выбирая для себя место действия.

Блестяще решена в спектакле задача первой встречи со зрителем. Музыкальная увертюра создает в зале атмосферу праздничной приподнятости, настраивает зрителя на контакт со сценой. Из зала под звон бубенчиков появляется шут в ярко-красном костюме и с колпаком на голове, объявляющий о начале представления. Праздничное настроение в зале еще более усиливается, когда поднимается занавес и на фоне выкрашенной в синий цвет сцены начинает колыхаться только-только распустившееся многоцветье роз... Синий цвет и розы создают впечатление пластической метафоры... Первый будто символизирует безграничность мира, тогда как разноцветные розы — счастье возлюбленных, торжество любви. Наряду с этим небесная синева и розы указывают зрителю на существование второй сцены, где должны зажить своей жизнью персонажи... Поднимается занавес, и действительно перед глазами зрителей возникает интерьер второй сцены, на досчатых перекладинах которой на втором плане — одетые в яркие костюмы действующие лица. Каждый из исполнителей — в позе своего героя — повторяет роль, готовясь к спектаклю. Затем они быстро и в едином ритме занимают свои места, сообщая о начале представления. Таким образом, весь ход действия пьесы осмыслен режиссером как «спектакль в жизни», в котором каждый из персонажей предстает под чужим лицом. Поэтому сцена на сцене воспринимается зрителем так, будто это в жизни персонажи пьесы в масках изображают других людей.

Следует отметить, что в творчестве Д. Алексидзе большое место занимает искусство раскрытия характера с помощью чувственно-поэтических средств. Однако и здесь во главу угла ставится подчинение человеческих переживаний строгой естественности, особенно в тех случаях, когда персонажи выступают в роли других людей. Поэтическое осмысление реальной действительности в творчестве Д. Алексидзе — синоним многообразия, он усиливает тонус эмоциональности во взаимоотношениях персонажей и невольно вселяет в зрителей веру в непреодолимость и неисчерпаемость человеческих возможностей. Однако если этим взаимоотношениям недостает искусства, если в персонажах нет того, чем каждый человек наделен от природы, — со сцены моментально начинает веять холодом. Этот холод никогда не ощущается в спектаклях, поставленных Д. Алексидзе, независимо от того — комедия это

или трагедия. Не составляет исключения в этом плане и «Двенадцатая ночь». И здесь персонажи следуют дарованному природой человеческому «таланту», и здесь на сцене естественно возникает ситуация, вызывающая у зрителей искренний смех.

В сценографию «Двенадцатой ночи» естественно вписываются условная живопись и движущиеся предметные конструкции. По замыслу художника и режиссера эти предметные конструкции и создают условность сцены на сцене, указывают на место действия и другие компоненты. Персонажи в стремительном темпе исполняют эпизоды, в которых обыгрываются эти сценические аксессуары. Однако обыгрывание аксессуаров не ограничивается эпизодами и органично пронизывает всю сценографию спектакля, давая толчок развитию действия. Кроме того, как это характерно для режиссерской манеры Д. Алексидзе вообще, каждой паузе и реплике предшествует пластически иллюстрирующее действие, выражающее внутренние переживания героя и его намерения. Именно в этой «игре» проявляется отношение актера к своему персонажу.

Как признается сам Д. Алексидзе, он стремится привить студентам навыки пластического мышления, научить их чувствовать архитектуру, живопись, скульптуру, что совершенно необходимо для воплощения режиссерского замысла.

При построении мизансцен режиссер уделяет основное внимание закономерностям движений тела в пространстве, придающих мизансцене художественно-образное значение. Мышление пластическими образами естественно вмещает в себя сочетание света, цвета и музыкального звука, гармонически переплетающихся в действиях персонажа. Это в большей или меньшей мере ощущается во всех участниках курсового спектакля.

По глубокому убеждению Д. Алексидзе, театр завтрашнего дня с его неповторимыми формами может быть создан только тогда, когда режиссер, художник и композитор в тесном союзе смогут решить стоящие перед театром сегодняшние задачи.



ВСТРЕЧА С ИВАНОМ ТАРБА

В СУХУМСКОМ государственном грузинском драматическом театре им. К. Гамсахурдиа состоялся творческий вечер видного абхазского писателя, лауреата Государственной премии Абхазской АССР имени Д. Гулиа и премии Совета Министров Грузии «Летопись пятилетки» Ивана Тарба.

На вечере присутствовали кандидат в члены бюро ЦК

КП Грузии, первый секретарь Абхазского обкома партии Б. В. Адлейба и другие руководители автономной республики.

Вечер открыл секретарь правления Союза писателей Абхазии А. Джонуа. О творческом пути И. Тарба, о его вкладе в абхазскую национальную культуру рассказал писатель К. Ломиа.

Собравшиеся тепло встретили выступление И. Тарба, который прочел несколько своих стихотворений.



На 1-й стр. обложки: репродукция с картины Давида Какабадзе «Сванетия».

Сдано в набор 23.07.84 г. Подписано к печати 27.09.84 г. Формат 84×108₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0. УД 09083. Тираж 6.100 экз. Заказ 1617. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

85 к

6/133

ИНДЕКС 76117



Л. П. ПУШКИН

Содержание

Л. П. ПУШКИН
А. С. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН

Содержание

Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН
Л. П. ПУШКИН

Л. П. ПУШКИН

Л. П. ПУШКИН

ПУШКИН

Л. П. ПУШКИН

